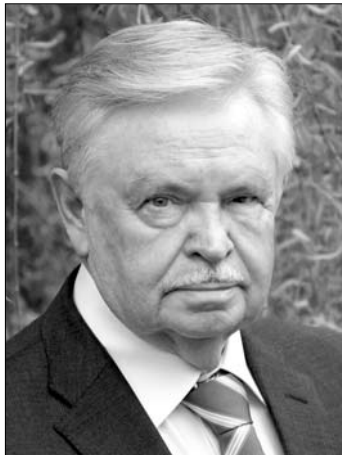


АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



ЦИРКОВЫЕ ЦИРКАЧИ

Повесть из цикла
“Русские мальчики”

1

Как я ждал отца с войны! Как трепыхалась моя душонка в ожидании сладкого мгновения: вот скрипит наша высокая калитка и на приступке — батя, в выцветшей пилотке со звёздочкой, с вещевым мешком на плече, а на груди взблёскивает медаль “За отвагу”. Он дважды лежал в госпитале, где работала лаборантом мама, — санитарные поезда везли его на восток, но шли-то они через наш город, и оба раза он уговаривал начальников этих удивительных поездов снять его, старшего сержанта, на нашей станции и отдать в местный госпиталь, и два раза являлось в нашу семью чудо: мама приходила утром на работу, а ей велели пойти в такую-то палату и взять там кровь у вновь прибывших.

Мама шла. И оба раза едва не падала со своими пробирками в обморок, потому что к ней вдруг поворачивался отец — то есть он мне отец-то, а её — муж! Будто с неба, что ли, слетел? Или вышел из чёрного месива человеческих фигур, грохочущих орудий, бомбовых взрывов, лошадиного ржания, теплушек, откуда выглядывают эвакуированные, из стога, слёз, крика отчаяния — из всего того, что называются войной, и из чего вовсе

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького, многих других отечественных и зарубежных наград. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.

нелегко выбраться, пусть даже с ранением, и оказаться в госпитале одного города и дожидаться лаборантки, которая придёт брать кровь. И тут ей улыбнуться. А её зашатает. И она чуть не упадёт. Ох, нет, конечно, опустится на отцовскую койку и возьмётся, чтобы сердце унять, за голову обеими руками, отложив в сторону драгоценные пробирки с кровью, уже взятой у какого-то раненого.

Ну, так вот... Война кончилась, а отца всё не было, и даже письма от него приходиться перестали, а нетерпение моё нарастало, и я всё чаще стал сам себя пугать: а вдруг вот он войдёт в калитку, а я его не узнаю?

Как так — допрашивал я сам себя. Его фотография висит на стенке — там мы все трое сфотографировались в декабре 1941 года, когда его под Москвой ранило первый раз — я в матроске, не совсем ещё серьёзный, — но мне же и тогда уже было шесть лет; во второй раз нам, правда, не удалось сфотографироваться по какой-то причине — но я же отца помнил, наизусть знал его лицо, а отчего-то теперь не верил себе. Боялся.

И не зря, оказалось.

Довольно долгое время спустя мы получили его письмо не треугольником, а квадратное, хотя в каком-то удивительно уменьшенном конверте. А в нём на тонкой, почти просвечивающей бумаге и карандашом, неровными буквами написанная короткая записка, в которой сообщается, что с самого что ни на есть Запада их часть перекинули на самый что ни на есть Восток и теперь его скоро не демобилизуют, потому что, как известно, идёт война с Японией.

Как затосковала моя душа от этого известия! Мама с бабушкой плакали почти навзрыд, а я себе не мог такого позволить. И самым главным среди причин этого непосволения было почти взрослое понимание: я теперь не малыш. Мне не шесть, а десять лет, а в десять лет ребята бывают и партизанами, и солдатами, и гибнут как взрослые.

Мама и бабушка плакали, и я справедливо думал, что это ведь, в том числе, от досады: поезд на восток, как писал отец, опять шёл через наш город, прибыл под утро, но стоял на запасных путях буквально пять минут и рванул дальше, потому что был приказ двигаться скорее.

Мне и самому хотелось разреветься во всё горло, что ли! Отец в теплушке, ночью на станции его родного города, но никто из нас об этом даже не догадывается, и мы спим тут спокойненько, не шелохнёмся, а он горюет.

Вот тут-то, когда отец проехал мимо, на новую войну, и стало на меня наседать это странное беспокойство: он входит в калитку, а я не узнаю его.

2

Была, конечно, ещё одна причина этой тревоги.

Бабушка, узнав, что отца перебросили на Восток, сдала одну из двух комнат квартирантам. С маминого, конечно, согласия.

Ненадолго, уверяла она, на каких-нибудь два или три месяца, до осени или до возвращения отца. А причину и объяснять не требовалось: одна война кончилась, и вторая тут же началась...

Нет, наверное, не так. Просто жить становилось не легче после войны-то. А может, и всё трудней. Все выдохлись — от горя, от лишений, от того, что давно продали и проели, что можно было продать и проесть. Слава продуктовым и прочим карточкам, по которым давали хоть какую еду, и нормы эти потихонечку, да увеличивались. Зато росли цены на рынке. Буханка хлеба — целое состояние. И молоко покупали там, и что ещё позволял заработок мамы и бабушкина грошовая пенсия. Так что деньги в добавку если не спасение были, то благом, и бабушкино решение мама поддержала, хотя сомневалась:

— Вот что это только за народ? Эти циркачи? Ненадёжная публика! Что за занятие! В цирке представлять!

Вот это новость!

Я, конечно, бывал пару раз в цирке, не один, ясное дело, с приятелями, и билеты мы сами покупали в кассе, выстаивая долгую очередь женщин

и бабушек с детьми, и нам почему-то всегда доставались места в последних рядах, далеко от сцены. Говорили, что сцена называлась манеж.

Конечно, сидеть вверху тоже было забавно: мы сразу принимались глядеть наверх, смотрели, нет ли дыр в брезентовой крыше, и, надо сказать, дыры эти находились в довольно немалом количестве, что нас удивляло простым вопросом: а если дождь? Но дождей не было, а мы не были привередами, и сверху разглядывали надстройку над выходом на сцену, где сидели музыканты в красных, нам казалось, бархатных, одеяниях и дудели в золотые трубы.

Все, что происходило на круглой сцене, издалека виделось мелковато, голоса, если говорили артисты, слышались не очень-то громко, и приходилось вслушиваться. Выходило, зал смеялся над смешными словами клоунов, а мы переспрашивали друг друга: “Что он сказал?”, “Что?” — и, разобравшись, смеялись тоже, правда, с некоторым опозданием. А кому это понравится? Нам самим не нравилось.

Словом, что такое цирк, я, в общем, понимал, конечно же, признавал, но... Не знал!

Может, оказывается, быть вот именно так. Даже любить можно что-то. А не знать! Признавать и понимать можно, но не знать. Да и узнавать-то, как окажется, никто требовать не станет. Смотри да смейся! Гляди да удивляйся! Вот и всё. Именно за это ты платишь свои рублики.

За удовольствие.

3

Они появились целым шалманом в девять человек и познакомились со мной и бабушкой как-то вскользь — мама-то была в госпитале — просто покивав и узнав, как нас зовут. Сами же распаковали деревянный, серого цвета, бывалый, видать, в разных передрягах, сундук большого размера, который притащили с собой, достали сразу два примуса и принялись варить в огромной кастрюле какое-то блюдо — то ли суп, то ли ещё что, неведомое нам, которое запахло незнакомыми русскому обонянию, но довольно приятственными ароматами. Продовольствие вынимали из ящика, обвёрнутое в газетки и тряпочки, кидали в бурлящую воду, мешали длинными, у нас невиданными, деревянными ложками...

При этом они не говорили, а странно покрикивали:

— Эй!

— Хоп!

— Уа!

Изредка получались фразы подлиннее: “Скорее сюда!”, “Шевели ногами!”. Или уж совсем невероятное: “Алле, гоп!”

И, странное дело, все эти люди чётко, мгновенно повинувшись, немедленно выполняли собственные же команды! Про покорных детей я уж не говорю, но сами взрослые двигались резко, точно и совершенно определённо, как заведённые и уверенно знающие, что делать, игрушечные солдатики.

Оба примуса — на втором шкварчало что-то мясное, опять же неизвестно чем-то властным ударяющее в мои ноздри, — постепенно обрастали мебелью. Из комнаты, в которую въезжали эти люди, вынесли три стула, один из которых скрипел от старости и жаловался на тяготы бытия, ящик из-под фруктов, залежавшийся с довоенных времён в сарае и покрывшийся уже паутиной, скамья, быстренько выдернутая из земли, несмотря на бабушкины сомнения, и даже тройка перевёрнутых старых ведёр — на них тоже можно сидеть.

К той поре вернулась мама, глаза у неё округлились от увиденного, на всякий случай она поджала губы, осторожно обходя всех новосёлов и ничегошеньки не понимая, но тут перед ней возник, видать, самый старший, но самый низенький ростом и худенький человек.

— Извините, дорогая! — сказал он — я тогда ещё в акцентах не разбирался — с каким-то неясным акцентом. — И, пожалуйста, не бойтесь. Мы сейчас приготовим стол и подробно вам представимся. А жить здесь будут только трое!

Худенький мужчина интеллигентно улыбался, карие глаза его лучились сиянием, от него так и плыло доброе желательство всем, к кому он обращался!

— Но как вас зовут? — спросил он вкрадчиво и, чтобы смягчить знакомство, представился сам. — Меня — Антон.

— Да нет-нет! — почему-то смущенно сказала мама. Она, наверное, хотела пояснить, что даже не имеет значения, как её зовут и как его зовут, этого Антона, пусть, мол, живут и готовят еду себе на радость, но получилось это у неё как-то не очень понятно. Поэтому она улыбнулась и назвала себя:

— Миля.

— Людмила? — уточнил вездливо Антон, хотя мог бы и не делать этого.

— Милица! — чуточку гордясь и чуточку смущаясь, сказала мама.

И вот тут весь это шалман резко повернулся к ней и стал в неё вглядываться.

— Милиция! — удивлённо спросил мальчишка из этой компании.

— Да нет! — рассмеялась мама. — Не милиция, а Милица! Это имя у меня такое. Редкое. Православное. Мама моя так меня окрестила.

— Конечно! — сказал от большой кастрюли чернобровый, повыше Антона, мужчина. — Такая черногорская принцесса была. Тоже православная. А Черногория — это на Балканах, возле Адриатического моря. Красота необыкновенная!

Вот тут всё и началось!

Мама постояла мгновенно, а потом стала подходить ко всем взрослым, протягивать руку лодочкой, довольно, кстати сказать, неумело протягивать, неопытно, и всем довольно дружелюбно представляться: “Миля!”

Потом мама ушла в нашу комнату, где жили мы втроем с бабушкой, долго зачем-то переодевалась и умывалась, пока Антон не закричал ей:

— Миля! Миля! К столу!

А стола и не было! Примусы — две кастрюли, и возле них круг разнородной мебели. И вот тут настал мамин миг. Она как-то быстро, одним махом освободила маленький столик, на котором всегда стояли большие часы и разные, с довоенных пор, побрякушки и пустые бутылочки из-под довоенных духов — мама их не выбрасывала, говорила, что это подарил отец — и вынесла столик во двор. Благо, что он был лёгкий, этот столик.

Такой её, в общем, обыкновенный поступок вызвал бурный восторг, в нашем доме никогда не бывавший: все эти люди, бросив дела, аплодировали маме и хором кричали: “Браво! Браво! Браво!” И улыбались, будто мама тоже артистка и совершила что-то необыкновенное.

Я её никогда такой раньше не видел. Худенькая, с лицом, склонным к желтизне от постоянного недоедания, мама сейчас раскраснелась и выглядела красивой и какой-то энергичной, готовой, пожалуй, к каким-то необыкновенным поступкам.

И хотя она долго отнекивалась, говорила, что сыта, да и сын не голодный, а уж про мою бабушку, её маму, так сказать, квартиросдатчицу, и говорить неловко, её компания циркачей и слушать не желала.

Переполох был, в общем, как в курятнике, шуму и гаму, как на толкучке, где все друг друга перебивают, разговаривая каждый о своём. Наконец, Антон разлил в тарелки суп из всё ещё кипящей кастрюли и объяснил:

— Это суп бараний, там жир, и его едят быстро, иначе он остынет и будет невкусно.

Все защёлкали ложками.

4

— А теперь, — сказал Антон, когда тарелки опустели, — давайте знакомиться!

И оглядел весёлым взором всю свою братию. А потом и рукой подтвердил: красиво так обвёл рукой это товарищество, даже слегка поклонился.

— Перед вами, — сказал он, глядя куда-то вверх, наверное, обращаясь к невидимым зрителям, — семья Антонио — воздушные гимнасты под куполом цирка.

Затем он опустил взгляд свой к нам, здешним жителям, и доверительно пояснил:

— Но мы не семья. Мы просто друзья и работаем — один — номер.

— Зато покрепче, чем любая семья, — негромко проговорил тот, чернобровый, который знал про Милицу даже больше, чем мама, носившая это имя.

— Вот именно! — воскликнул Антон. — Потому что у нас смертельный номер! Мы находимся под самым куполом! И не имеем права на ошибку! Понимаете!

Мы все кивали — и я, и мама, и бабушка, которая одна не сидела, а стояла, прислонясь к стене дома, и держала в обеих руках пустую чайную чашечку, в которую ей налили бараний суп.

— Но это позже! — выдохнул Антон. — Мы вас всех приглашаем в цирк. Бесплатно! Вы наши гости! А нашу работу надо увидеть. Словами её — нет! — он помотал головой, — не описать!

Он рассмеялся, оглядел свою команду и спросил сразу всех, ни к кому не обращаясь:

— Правда, ребята!

И его команда будто хором вскрикнула, хотя каждый прокричал своё.

Чернобровый крикнул “Хоп!” — я это совершенно точно расслышал. Второй крикнул “Уй!”, мальчишка издал звук “Э-э!”, обе девчонки выразились пояснее “Да!”. А три приезжие женщины будто кого-то окликнули хором: “Эй!”

И меня этот крик, это восклицание поразило. Ведь почти все произносили разное, а вышел эдакий громкий и очень общий восклицательный знак! Не команда, конечно, отклик на команду, а ещё точнее — сигнал, подтверждение, что это не просто тут люди собрались слегка пожрать, а команда, готовая в дело по первому восклицанию командира.

Больше он уже не смотрел вверх, на невидимых зрителей, а нам персонально и лично разъяснял, кто здесь находится — переводил взгляд свой с меня на маму, на бабушку и опять на меня.

— Меня зовут Антон, но в паспорте записано — Антонио. Наверное, мои родители, сразу как я родился, решили, что быть мне артистом. Поэтому и номер наш звучит по моему имени — семья Антонио, воздушные гимнасты! Красиво ведь звучит, правда?

Это он к нам обращался, не к своим же, но они закивали раньше нас, ну и мы тоже закивали — очень даже красиво звучит.

— Теперь про семью, — продолжил Антон. И склонил голову в сторону тощенькой и довольно не улыбочивой женщины. Она была в ситцевом сером халатике, похожем на больничный, ела без аппетита, а волосы у неё были обрезаны почти как у мальчишки, совсем коротко.

— Это моя жена, — сказал Антон торжественным голосом. Так, наверное, объявляют артистов в цирке. — Её зовут Леонида.

Хитреньким взглядом поглядел на меня, на маму, на бабушку.

— Вы, конечно, знаете, что есть мужское имя Леонид, но почти уверен, что не знаете про женское имя — Леонида!

— Леонида Антонио!

Циркачи захлопали, волей-неволей захлопали и мы, совсем не готовые к тому, что надо аплодировать — развесили, так сказать, уши.

А Леонида вдруг вскочила со стула — красиво отставила ножку и низко склонилась перед всем обществом, а вышло — перед примусами с двумя кастрюлями, причём одна уже была пустой, зато вторая выражала явное неудовольствие слишком долгим ожиданием: в ней что-то нетерпеливо шкворчало и издавало соблазнительный аромат.

Поклонившись, Леонида села на место и довольно неожиданно, не как артистка, а как брызгливая тётка, сказала противным заунывным голосом:

— И вечно ты, Антоха, театр устраиваешь! Мне спать надо! А зовут меня — просто Лена.

— Не театр, а цирк! — воскликнул Антонио, и заволновался: — Сейчас, сейчас! Но надо же представиться.

А дальше всё пошло гораздо скорей.

— Это, — указал Антон на блондинку, по комплекции своей точно отлитую с Леониды, — Джиди, а это её муж Сигурд, зовите просто — Сергей. Джиди и Сигурд Кобия, — воскликнул он, — то есть, все — Антонию!

Опять раздались аплодисменты.

— А эта пара, — указал он наконец на чернобрового, — дядя Вава-Штинц, в простонародье Георгий Тарабаров, и его великолепная жена Люка! Наша всеобщая покровительница! Наши костюмы, наш грим! Наши улыбки! Наша обувь! Наше настроение! Наш дух! Всё это Люка Антонию! А её Вава, — не вздумайте спутать с каким-нибудь Вовой, — погрозил он мне пальцем, — гроза под куполом цирка! Самый сильный из воздушных гимнастов, как и Сигурд — Сергей. Все — Антонию! Аплодисменты!

И все дружно захлопали. А Люка, которая, скажу прямо, сильно отличалась от двух других женщин своим построением, — уже раскладывала из второй кастрюли кусочки мяса с луком и ещё с чем-то, пахнущим пряно, не порусски. Да так аппетитно, что слюнки внутри меня просто растекались.

И тут я услышал голос Люки. Это был почти мужской голос: грудной, хрипловатый, тоже с акцентом. И с первых её слов стало ясно, кто тут хозяин.

— Вы, женщины, — сказала она, не глядя на маму и бабушку, но протягивая им тарелки с мясом, — должны понять! Что перед вами скромные люди! Но великие артисты! Их освободили от войны, чтобы они могли ездить по всей стране! И хоть немного веселить наш измученный народ! Моего Ваву, — она указала локтем на чернобрового, — даже на фронте нашли и отозвали. Представляете?! С фронта в цирк! Это значит, что цирк ничем не безопасней фронта. Особенно их номер. Каждый день — риск. Каждый вечер я выглядываю из-за занавеса, и моё сердце останавливается. То, что делают эти люди, ещё не делает никто в мире!

И тут она заплакала.

Она была толстая, эта Люка и совсем не походила на Джиду или Леониду, и как я узнал потом, никогда не выходила на манеж. Но она отвечала! Она переживала! И слова — “за всё!” — ровным счётом ничего не означали, потому что, как опять же я лишь потом понял, — она будто за всех за других выполняла все их действия под куполом цирка. В своём большом сердце.

А тут, за тем памятным обедом, она плакала прямо над тарелками, в которые раскладывала кусочки ароматного мяса, и слёзы капали прямо в них, но никто ей не делал никаких замечаний, пока вдруг Леонида, мигом преобразившись, выпрямившись, став гибкой и элегантной в своём больничном сером халате, не воскликнула:

— Главный вдохновитель и режиссер, управительница и старшая сестра, начальница и подчинённая, душа и тело семьи Антонию — Люка Антонию. Аплодисменты!

И все мы хлопали, и нам-то троим всё это было немножко чересчур, довольно непривычно, непонятно, не по-нашему. Однако мы тоже хлопали, сильно смущаясь про себя. И по маме с бабушкой, которые держали тарелки с вкусным мясом, довольно редким для нас блюдом, и по их выражениям я понимал, что, несмотря на всё это нежданное веселье, они бы с удовольствием потихоньку удалились, а точнее говоря, сбежали с этой лужайки перед собственным домом.

А причина была не в неудовольствии этими людьми, а в неудобстве перед ними.

Ведь они появились вдруг, без всякой подготовки, неизвестно откуда, и так шумно стало, так непонятно и, скажем прямо, не по-нашему, что хотелось отодвинуться в тень, уйти домой, например, забиться в уголок и как следует подумать о том, что тут происходит. И, главное, зачем...

И видно, то ли по нашим лицам, то ли в воздухе вдруг расплылось это наше ощущение и передалось семье Антонию, но настала небольшая — очень небольшая — и неловкая пауза.

И тут их мальчик обратился к Антону.

— А мы?

И худенький кареглазый предводитель хлопнул себя по лбу и спросил, вдруг обращаясь лично ко мне:

— А ты, Коля, работаешь?

— Нет, — ответил я, смутившись. — Ещё учусь.

— Правильно, — серьёзно проговорил Антон. — А вот сын Вавы и Люки — Гриня Козлов, то есть Григорий Антонио, Елизавета — дочь Джиды и Сергея, и Анастасия, наша с Леонидой дочь, — и учатся, и работают! Представляешь — с четырех лет каждый. И у них уже приличный трудовой стаж в качестве артистов Союзгосцирка!

Мои мама и бабушка замерли. И тарелки на землю поставили. Глядели на двух девчонок и мальчика, как на чудо какое-то. А потом первыми захлопали. Закричали:

— Браво!

Ну и все остальные присоединились. А две девчонки и пацанёнок Гриня вскочили и раскланивались во все стороны. А девчонки ещё и приседали.

И всё это у них получалось не по-нашенски, не из нашей жизни, а как-то по-заморски, может быть. Ну там же водятся какие-нибудь принцессы и принцы. Может, вот там они так и кланяются. А у нас-то — зачем?

— И что? — спросила бабушка не детей, а Антона. — Они выходят на сцену?

— На манеж, старушка, — произнёс всё это время молчавший Сигурд, он же Сергей.

Бабушка аж содрогнулась. И все это заметили.

Деликатный Антон решил поправить положение и вмешался:

— Вы его извините, он, знаете ли, слегка грузин! У него и фамилия грузинская. Не очень говорит по-русски. Не очень точно, понимаете. — И обратился к Сигурду. — Ты же не это хотел сказать, Серёжа?

— Не это! — опустил тот голову.

— А что? — не унимался Антон.

— Я хотел сказать — бабушке, — с сильным акцентом произнёс Сигурд Кобия, он же Антонио.

Теперь бабушка моя дорогая опустила голову, улыбнулась, но я-то знал её улыбки — это была усмешка мудрой русской женщины, конечно, старушки, естественно, бабушки — но для своих, а для чужих, и для любых иных, вошедших в наш огород с улицы, она была Мария Васильевна и никому нет никакого дела до того — старушка она или бабушка.

Словом, конец получился скомканным. Леонида ушла спать, все остальные собрали имущество, оставив Антону с женой и Настей один примус, кастрюли и тарелки с ложками, в какие-то секунды закрыли ящик, оставив его во дворе, пока не заедет за ним цирковая машина, и исчезли.

Настя объяснила — по своим квартирам.

Все артисты номера располагались неподалёку, в частных комнатухах, и всем приходилось нелегко, потому что у цирка-шапито, который разворачивался каждое лето в нашем городке, общежитие отсутствовало.

— А на работу нам надо всегда идти, немного поспав, — по-взрослому сказала она мне. И предложила: — А на представление, Коля, мы позвоём тебя денька через два. Когда освоимся.

5

Когда мы оказались в своей комнате, минуту помолчав, как будто обдумывая вопрос или собираясь с духом, мама спросила свою маму, мою бабушку:

— А что это ещё за принцесса?

— Понятия не имею! — почти возмутилась бабушка. — Первый раз слышу!

— Не хватает ещё таких разговоров! — возразила мама. — За это знаешь что бывает!

Она будто бабушку отчитывала. И за что? За то, что она выбрала ей такое имя. В неразумном мамином младенчестве. И я решил разрядить обстановку.

— Мама! — сказал я. — А меня Николаем в честь кого назвали? Царя Николая Второго? Или Первого?

Она остановилась посреди комнаты и в меня вперилась, будто первый раз своего сына увидела. Воскликнула:

— Какой умный! Ишь ты!

— А все-таки! — приставал я.

— В честь Николы Чудотворца, — отмахнулась она ладонью, как будто разговор заканчивая.

— А ведь и он не наш, — сказала тут негромко, стараясь, видно, страсти не раскалять, бабушка.

— Как не наш? Русские его любят. — Потом что-то припомнила из своего детства, поправилась: — Ну да! Но он же древний! Святой! А тут... неизвестно что.

Эти рассуждения буксовали не от того, что ехать не хотели, а не могли. Не было у них двигателя, как, например, у машины. А что это за двигатель мог быть, я совершенно не понимал.

Может, потому перекинулись на меня.

— Сколько же этой Насте лет? — спросила мама. — Тринадцать, четырнадцать... И что же — десять лет стаж?

Бабушка тоже не понимала.

— Разве позволяется у нас детям работать? Да ещё с таких лет?

И я не понимал, чуточку даже уязвленный. Ведь как заметил дядя Антонио, я-то до сих пор не работал.

— Какой работник в четыре года? — спросил я сам себя. — И что они там делают?

Одним словом, после еды во дворе, первого, что ли, знакомства, в дом наш вполз какой-то туман. Довольно, надо сказать, плотный. Сквозь этот туман виднелись только очертания людей, только силуэты кастрюль, примусов, тарелок. Только слова сквозь него доносились, но складываясь между собой, эти простые и понятные слова оказывались совершенно незнакомыми знаниями. Даже, точнее, незнаниями.

К нам вступила чужая и чуждая жизнь, вот как можно было бы сказать. А чуждой она казалась потому, что мы её просто не знали.

Это узнавание приходило неровно. Будто вода в нашей северной реке — то идет тёплые струи, нагретые солнцем, то вдруг тебя обожжёт снизу холодным, почти ледяным слоем — это вышли из глубин воды, ползущие возле самого дна, и протечь им надо многие вёрсты, чтобы наполнить себя солнечной лаской.

Если, конечно, солнце не уйдёт за тучи.

6

В тот же день, пару часов спустя, во дворе появился дядя Антонио с блескучими глазами и широкой улыбкой, обращённой ко всему миру.

Вскинув голову и опять обращаясь к кому-то, сидящему высоко, он воскликнул:

— Ну что ж! С премьерой в этом славном городе!

Потом внимательно посмотрел на меня и прибавил:

— А ты, Коля, на эту премьеру приходи!

— Настя сказала... — начал я, но дядя Антон не дал мне договорить.

— Вот с Настей и приходи! Сначала иду я! Надо присмотреть за аппаратурой. Потом пойдёт Леонида — ей надо размяться. И последней мы ждём Анастасию.

И тут он опять торжественно воскликнул:

— Анастасия Антонио!

Настя испуганно приоткрыла дверцу, спросила довольно заунывно, видать у матери чему-то училась:

— Ну что ещё, папа!

— А как звучит? — спросил меня Антонио. — Два “а”. Представляешь! Два больших “А”. Анастасия Антонио! — И добавил, сбросив пар, совсем

обыденным голосом, обращаясь к Насте: — А ты Колю не футбол! Он нам сегодня очень пригодится! Во-первых, приведёт тебя к цирку, ты ведь сама-то город совершенно не знаешь! А во-вторых, будет первым нашим городским рецензентом.

— Это как? — спросила Настя, а даже не я.

— Ну! Коля скажет, как ему наш номер. Просто понравится? Или он придёт в восторг! Мама и бабушка отпустят?

Я закивал, конечно.

— Ну, скажи, что я пригласил! А в воскресенье и их приглашаю!

Он исчез, а ещё через пару часов из двери их комнаты вышла Леонида, совершенно не похожая на ту женщину в сером халате, что хлела из тарелки бараний суп, устроившись на старом, с драной спинкой, стуле.

Сейчас это была женщина в туфлях на невысоких каблуках, в облегающем её стройную фигурку спокойно-зеленоватом платье и в шляпке с короткими полями. В общем-то, ничего особенного я не заметил. На улицах городка, дождавшегося конца войны, уже стали появляться женщины в платьях, сшитых из материй, невиданных ранее, в кофточках, отличающихся от серых одежд военных дней — как будто бы что-то стало чуточку — но ещё не очень заметно — меняться. И вот в этот меняющийся город Леонида в платье светло-салатного цвета вполне вписывалась. Но вот её походка, весь неспешный вид указывал на её, пусть и привлекательную, инородность.

Шла по улице не своя, не местная, а откуда-то прибывшая. Из иных далей.

Настя смотрела вслед своей матери спокойно, не понимая моих колебаний, и где-то через полчаса мы тоже отправились к цирку.

Цирк-шапито разворачивал, напомним, свою круглую крышу каждую весну, а поздней осенью её сворачивал, оставляя до лета деревянные и тусклые за зиму голые деревянные стены. Двери закрывались, даже, кажется, забивались досками крест-накрест, чтобы не лазал туда наш брат, озорные мальчуганы, и этот наш брат уважал цирковой остов, мёрзнувший в крепкие морозы. Вездесущее мальчишество и даже хулиганье на цирк зимой не зарилось, уважая, видать, его за летние заслуги. А стоял этот цирк в большом сквере поблизости от крутого спуска к реке, на пространстве, всем в городе известном и всем же доступном.

Для меня это место, как я уже говорил, было известно, понятно, вызывавшая самые добрые чувства, и я шёл сейчас с Настей летучей походкой старожилы, открывающего неведомые пути вдруг явившейся приезжей.

Она меня никак не интересовала. Выше меня почти на голову, года на три старше, выглядела Настя-Анастасия совершенно непривлекательно: худая, плоскогрудая, с довольно большим носом, занимающим пол-лица. И глазки у неё были маленькими, неясного цвета — ползулёные, полусерые.

Сначала мы шли молча, потом я вспомнил, о чём надо спросить.

— А как ты работаешь? — спросил я. — С четырёх-то лет?

— Потерпи, — почти оборвала она, — сам увидишь.

Я, конечно, не обиделся, просто кивнул и спросил снова:

— И как же ты учишься?

— А вот это целая проблема! — ответила она по-взрослому. — Меняю школы по четыре, по пять, по шесть раз за один год. Потому что мы всё время переезжаем. Понимаешь?

Я, конечно, не понимал. Даже представить не мог, как, например, пять или шесть разных математиков будет? Тут и так-то с одним бьёшься-бьёшься, чтобы понять, да и правильно решить задачку, а если — пять учителей математики? Пять — литературы? Пять — физкультуры?

Я её прямо спросил:

— Ну, раз ты гимнастка, да ещё воздушная, тебе, наверное, хоть по физкультуре-то одни пятёрки ставят?

— Ого-го! — проговорила она. — По физкультуре ставят одни двойки! Или чёточки, знаешь? Такую чёточку, что я физкультурой не занимаюсь. — Она вздохнула. — Да и какая физкультура! На лыжах я ходить не умею! На коньках — родители запрещают и тётя Люка!

— Почему? — удивился я.

— Бояться, что упаду на лёд и руку, например, сломаю. Весь номер к чёрту!

— Какой номер? — совсем не по-цирково спросил я. Потом вспомнил — номер, это их представление, воскликнул запоздало. — А-а!

И всё равно я ни черта не понял. Это я у Насти её взрослое выражение тут же присвоил: неплохо звучит — “ни черта!”.

Да уж, веяло от этой Анастасии Антонио чем-то совершенно взрослым и мне непонятным.

7

И вот тут она стала преображаться у меня на глазах, эта Анастасия.

Сперва я просто обронил вроде как сочувственную фразу, и сразу получил урок.

— Да-а, — сказал я добродушно, — тяжело вам приходится, циркачам!

Настя остановилась и строго уставилась на меня. Я даже испугался: чего случилось-то? А она, разделяя слова, проговорила, каждый раз будто указкой, помахивая перед моим носом длинным и тонким своим указательным пальцем.

— Мальчик! — махала она пальцем. — Запомни! Слово! Циркачи! Не-хорошее слово! Мы! Не циркачи! Мы — артисты! Одни артисты! Работают в театре! Другие! В кино! Мы работаем в цирке. Мы! Цирковые! Артисты!

Я немножко рассердился. Чего тут останавливаться-то? Чего мне пальцем указательным тыкать! Чего ко мне обращаться, как к маленькому — “мальчик”. Нет, что ли, других обращений?

Но смотрела эта Настя на меня не зло, вроде как, подумал я, она от чего-то защищала себя и свою семью. И я успокоился.

— Конечно, — сказал я, соглашаясь, — а как иначе! Цирковые артисты!

Она сморгнула, утешилась, пояснила:

— Можешь говорить просто, — цирковые, понял! И мы не обидимся! Но не говори — циркачи!

— Я же не знал! — воскликнул я.

— Поня-ятно! — протянула она. — Да почти никто не знает.

— Ну вот! — обрадовался я.

— Но теперь-то ты знаешь?

Вот в таком несколько разогретом состоянии мы подошли к цирку, а дальше вперёд, взрослой походкой, зашагала Анастасия. Она уверенно, будто бывала тут не раз, обошла круглое здание и приблизилась — и я вслед за ней — к служебному входу. Там стоял дядька-вахтёр, и он, было, попробовал её задержать.

— Вы к кому, девушка?

Но она даже не повернулась к нему, бросив через плечо:

— Я из номера Антонио!

Дядька разинул рот, чтобы ещё что-то спросить, но увидел меня и крикнул:

— А мальчик? Тоже из номера?

И она ответила, слегка повысив голос:

— Мальчик со мной!

Честно сказать, я не был силён в таких воинственных проходах, но инстинкт подсказал, что надо прибавить шагу и самоуверенности — и я в три шага догнал цирковую Анастасию.

О, это закулисье шапито! Тут чем-то пахло ни на что не похожим! Тут слышались звуки, непонятные обычному слуху. В общем-то, цирковые зады оказались полукруглой же, но широкой пристройкой к круглому зданию с брезентовым шатром. Вдали были клетки и кто-то ревел. Но мне не дали разобраться в этой сумятице и в непонятном переполохе. Настя подвела меня к фанерной стене и постучала в неё. Открылась маленькая дверца, из неё вышел Антон в тёмно-коричневом бархатном халате с золотой вышивкой на груди — “АА”. Настю он молча пропустил мимо себя, а меня горячо приветствовал крепким рукопожатием и спросил:

— Ты раньше бывал за кулисами цирка?

Я помотал головой — откуда?

— Ну, давай, — сказал Антон Антонио, — я немножко тебе покажу. Ведь наш номер не скоро.

И мы пошли, довольно неторопливо, по этому полукругу, и необыкновенный этот человек с добрыми глазами со всеми весело разговаривал, а ещё и весело представлял меня.

Сначала, перед изнанкой бордового бархатного занавеса, он подошёл к огромному дядьке во фраке и с галстуком-бабочкой, воскликнув:

— Маэстро! Познакомьтесь, это мой друг Коля, любезно предоставивший мне апартаменты своего скромного дворца.

— О! — крикнул маэстро басом. — Тогда какой же он Коля? Здравствуйте, месье Николая! — И протянул руку.

Пришлось ответить. И трепетать!

Я весь прямо трепетал, будто бабочка, ей-Богу! Я чувствовал себя рыбой, по ошибке брошенной на раскалённую сковородку. Но при этом я же знал, что мне ничто не угрожает: ведь ведущий меня Антонио не мог допустить ничего страшного. Надо было только следовать за ним.

— Ой, Машенька, — воскликнул он, обращаясь к молодой красавице, наверное, фее, одетой во всё белое и серебристое, с круглой короткой юбкой, торчавшей во все стороны. — Простите, королева Марго!

Та остановилась и, зыркнув на меня, спросила его довольно невежливо:

— Курить есть?

— Ну ты же знаешь, Марго, — воскликнул Антон, — я не курю! Вот лучше познакомься! Мой друг Николая!

Она глянула на меня с интересом и бухнула совсем не по-королевски:

— Мальчик, признайся, ты ведь куришь! Угости старую шутовку!

— Что вы, — испугался я, — нет!

— Какого чёрта! — крикнула она зло и раздраженно, но тут же расхоталась и на цыпочках поскакала куда-то в цирковое чрево.

— Заслуженная артистка! — вздохнул ей вслед Антонио. — Лауреат всесоюзных конкурсов! Акробатка международного класса!

— А вы? — спросил я.

Он внимательно посмотрел на меня, усмехнулся:

— И мы ничего себе!

И вдруг проговорил совершенно мной нежданное в этом полукруглом, шумном, неудобном коридоре для людей и животных.

— Пока шла война, нам досталось. Нас и за артистов-то никто не держал. Так, шуты гороховые! Вас, детшек, развлекать да раненых после госпиталей.

Он уже не улыбался, этот добрый Антонио. Сказал очень серьёзно, и с какой-то силой, с какой-то, может, чрезмерной уверенностью:

— Ну, ничего! Всё кончилось! И сейчас цирк расцветёт. Придут фестивали! Конкурсы! В Европу поедем! В Америку! Ведь цирк обходится без языков! Он всем понятен! Он людей соединяет, понимаешь?

Нам навстречу двигались два клоуна — длинный и маленький. Антон снова засиял:

— Представьте, друзья! Это мой юный друг Николая!

Оба эти клоуна были с красными носами и в белых перчатках, и лица вымазаны чем-то белым. Они протянули свои руки сразу, и я их тоже пожал обеими руками.

— Пат! — сказал один.

— Паташон! — сказал другой.

— Пат и Паташон, — подтвердил я им своё знание цирка.

— Антонио, — спросил Пат, — ты что, резерв формируешь?

— Да у него этих резервов, — ответил за Антона Паташон, — куры не клюют!

Длинный Пат спросил Антона:

— Вы куда двигаетесь? Небошь, к зверям?

И сразу на меня посмотрел:

— Николая, а кто лучший четвероногий друг человека?

Я уже рот открыл, чтобы назвать, да тут и задумался, кого назвать — собаку? Но ведь и кошки мне тоже нравились, один такой, по имени Тимофей, жил у меня и был моим лучшим другом. Но Пат улыбнулся и с выражением произнёс, разделяя слова:

— Лучший — четвероногий — друг — человека! Кровать!

И все эти три дядьки захохотали, как маленькие. Пришлось и мне к ним присоединиться.

— А вот ещё вопросик! — воскликнул теперь Паташон. — На засыпку, Николая! Ты знаешь, как отличить левую ногу от правой?

Я даже стараться не стал, помотал головой — она у меня почти что кружилась от всего, что свалилось на неё.

— Ха! Ха! — крикнул Пат. А Паташон сказал, отгородившись ладошкой от других, будто это только мне адресовалось:

— На левой ноге большой палец справа! А на правой — слева!

И снова они все захохотали, и в эту минуту я вдруг почувствовал какое-то непонятное равенство с этим Патом, с Паташоном, да и с Антонио даже, и не потому что я вдруг вырос в мгновение ока или ещё что-нибудь со мной неожиданное случилось. А потому что они стали похожи на меня. Со мной выровнялись. Не ростом, а чем-то другим. Может быть, душой?

Ведь взрослые каждым шагом и словом подчёркивают, что они старше, мудрее, и, следовательно, им надо подчиняться. Ну, могут чуточку подурачиться, когда ты совсем маленький. Но дальше! Дальше с ними во всем надо соглашаться. Кивать, что взрослый старше, значит, он за всё отвечает. Взрослые лучше всё знают. Это они одни обо всём заботятся. Если они говорят, значит, спорить бесполезно. Вот такое равенство, ха-ха! Неравное равенство. Бесконечное подчинение! А с этими троими подчиняться не приходилось. Они были, вдруг показалось мне, точно такие же, как я, только ростом выше.

Что-то во мне новое шевельнулось, какое-то радостное предчувствие. Мне вдруг захотелось изо всех сил согласиться, что я понимаю и принимаю это равенство взрослых и невзрослых, в конце концов, цирк ведь придуман, наверное, для детей, и ничего страшного, что дети, или лучше сказать, не дети, а маленькие люди со взрослыми на одной ноге. Да ещё с такими добрыми взрослыми, как Пат и Паташон и мой хороший друг Антонио.

И я воскликнул, с жутким страхом ощущая, как теряю скромность и набираюсь нахальства. Я воскликнул:

— А знаете, что такое танцы?

Все трое переглянулись — разом пожали плечами.

— Это! — воскликнул я, бухаясь во взрослую пропасть. — Трение двух полов! О третий!

Клоуны и Антонио замерли, а моя душа скатилась в низ живота. Замереть-то они замерли, но глаза переводили друг на друга — таранились, таранились... И тут, будто по команде какой, захохотали все втроём и наклонились прямо до полу, и такой у них громогласный получился хохот! А я стоял перед ними, испытывая ощущение чего-то неведомого... Может быть, славы?

Они хохотали и шатались, наклонялись и разгибались, а я всего-то отпустил заезженную школьную шутку, услышанную от старшеклассников в нашем ученическом коридоре. Сам-то я ничего бы про танцы сказать не мог, потому что танцевать, ясное дело, не умел, не стремился, на эту тему не думал и вот просто услышал, мне понравилось и я запомнил: действительно, мужчины — пол, женщины — пол, и то, где они пляшут — тоже пол, вот и выходит такая шутка, впрочем, не очень-то, конечно, культурная или ещё как там... На уроке бы я этого не произнёс. А здесь, за кулисами цирка, среди друзей...

В общем, они хохотали и хохотали, и вокруг нас стал собираться народ, одетый для представления, — какие-то факиры в оранжевых шароварах и с белыми тюрбанами на головах, гимнасты в блестящих брюках, мелькнул маленький человек с цилиндром на голове, это был заместитель фокусника по лёгким фокусам, а сам фокусник, высокий человек в таком же цилиндре и чёрном плаще — виднелся вдали, но к нам не подошёл...

Артисты спрашивали, что за смех. Пат, Паташон и Антонио быстро пересказывали им мою глубокую мудрость, и они тоже смеялись, может быть, не так громко, но всё-таки смех стоял в коридоре, пока вперёд не вышел полный человек в лакированных сапогах и сиреневом костюме, опять же с блёстками, но очень немногими, размещёнными с большим вкусом и даже, пожалуй, достоинством, и, глядя на нашу компанию, произнёс:

— Правильно, ребята! Представление надо начинать, смеясь! Весело! Цирк придуман, чтобы хоть чуточку развеселить людей, которым не до смеха.

Он похлопал Антонио по плечу:

— Смех и отвага все наши горести отводят в сторону. Смех — это форма благородства, друзья.

Он приобнял меня и пошёл в другой конец закулисья — потом повернулся и поманил меня.

Меня лично, понимаете?

Но рядом со мной стоял Антонио, и мы двинулись вместе.

— Это, — шепнул он мне, — знаменитый дрессировщик животных. Орденосец Дуров!

Всё, что происходило со мной, просто в меня влетало. Потребуется много времени, чтобы эти блёстки происходившего со мной счастья сложились если не в большую картину, то в картинку моего детства, помогающего понимать других. Но я был ещё страшно далёк от таких рассуждений.

Я просто двигался, точнее, летел, я просто таранился или, вернее, глазел, просто глотал происходящее, как глотают самые вкусные вкусности или самые сладкие сладости.

Мы догнали Дурова, он полуобернулся и сказал:

— Сидоров, там, с животными, мои ребята! Ты сошлись на меня, расскажи мальчику, что следует! Только недолго! Устают не только люди! Но и звери!

И исчез.

Я сперва поглядывался — где тут Сидоров, но никого рядом не было, и тут же утешил себя: наверное, мне послышалось.

Вместо ребят к нам присоединилась немолодая недовольная женщина. Сначала она подвела к клетке, где сидел медведь, довольно скучный, хотя и большой. Ему не нравились люди, казалось, что он хочет спать, и, поэтому, поглядев на нас, он отвернулся. За мелкоячейстой сеткой толкалась целая стая мышей, и Антон сказал, что я сегодня увижу специальный номер Дурова, известный всему миру — звериная железная дорога, и мыши там будут главными. Впрочем, в этом поезде, пояснил он, поедут и зайцы, — ведь ясно, что в каждом поезде есть безбилетники — которых зовут зайцами. А ещё гуси, петух и прочая мелкая разная живность.

В дальнем углу, за высокой изгородью стоял верблюд. Он тоже был почему-то невесел, но хотя бы чего-то жевал, в отличие от медведя. И если медведь к нам с Антоном был равнодушен, то верблюд глядел как-то свысока и был преисполнен необъяснимого презрения. А ведь ничего мы ему не сделали плохого, даже словечка дурного не сказали.

Просто Антонио произнёс:

— Вот верблюд. Корабль пустыни.

И тут этот корабль плюнул. С ума сойти! За всю свою последующую жизнь я не видел, чтобы так харкались! С такой силой! На такое расстояние!

И этот харчок, целый блин, попал точно в цель, если этот верблюдище такую цель имел: в бархатный халат Антонио. В левую его полу, ниже вензеля “АА”, что означало, конечно же, “Антон Антонио”.

Антон чертыхнулся, отскочил в сторону. С халата текла какая-то густая масса, катила на пол, но след всё-таки оставался жёлтый и липучий, похожий на замазку.

Антон причитал с тоской, как тяжелораненый:

— Ай-йй-йй! Что же ты, друг! За какие такие мои грехи! Мне же на манеж! В чём я пойду!

Антон переменялся. Он как будто забыл про меня и побежал к своему закутку. Потом остановился. Сказал:

— Иди к Пату и Паташону! Они тебя устроят!

И исчез.

Между тем, прозвенел звонок. Время, я понимал, ещё было, закуток с верблюдом пустовал, в отличие от всего остального закулисья, и я зачем-то вернулся посмотреть на злодея.

Но верблюд, которого, как оказалось, зовут Яша — об этом гласила табличка на клетке, — по-прежнему жевал, совершенно ни в чём не раскаиваясь. Я пытался заглянуть ему в глаза, но это оказалось невозможно — слишком неравны мы были ростом. И все же, сообразил я, вражина эта что-то имела в виду, когда плевалась таким безобразным образом. Я-то был ей неинтересен, и сейчас горбатое существо это отворачивалось от меня, не желая слышать моих укоров, если бы они и последовали. Но я не собирался никого не в чём упрекать. Я просто хотел заглянуть ему в глаза и понять — по злему он умыслу плюнул, или просто так.

Как он ни отворачивался, но всё-таки раза два взглянул мне в глаза. И мне показалось, что он прячет смех. Если бы умел смеяться, то сделал бы это. Но он просто окатил меня таким лукавством, которое сверкнуло в его огромных чёрных глазищах. Будто хулиган какой-то, а не солидный верблюд.

— Да он и есть мальчишка, — будто услышала меня та неприветливая пожилая женщина, которая отстала возле мышиных клеток, а теперь подошла. — Всего три годика!

И рассмеялась. Вот интересно — лицо ее мигом переменялось и вдруг оказалось совершенно добрым и приветливым.

— Так он это нарочно? — испуганно спросил я.

— Конечно! — сказала женщина. — У них ничего случайного нет.

— Но за что же непременно Антонию? — поразился я.

— Сидорова-то? — переспросила она. — А вот этого я не знаю.

Покачала головой и объяснила непонятно:

— За что-то! А может, и ни за что! Халат не понравился! Может, он зелёный любит! Или подумал что-нибудь про него нехорошее, Антон-то! Возьми и подумай, а Яша всё несказанное понимает. Вот и разрядился! Подумаешь!

8

Пат и Паташон куда-то исчезли, и самое начало я пропустил. Загремела музыка, на манеже послышались громкие голоса, я приблизился к занавесу с обратной его стороны и почти прижался к стенке, чтобы никому не мешать и всё видеть.

При выходе грудилось довольно много людей, по-разному наряженных, но в этой как будто неразберихе был свой порядок. Не сразу, но довольно быстро я понял это. Кучками, распадаясь и снова сливаясь вместе, группки артистов поочередно выходили вперёд. Тот дядька во фраке и с бабочкой, который изменил моё имя на Николая, входил и выходил в щель между лапами занавеса, как только приближался конец предыдущего номера, выкликал следующих артистов, они довольно громко рапортовали о готовности — при этом говорили это по-разному: “Есть!”, “Здесь!”, “Всё готово!”, “В полной готовности!”. Он кивал, уходил к манежу, и как только отработавшие номер получали свои аплодисменты, кланялись, снова получали овации, выбегали на манеж, возвращались на площадку перед занавесом, и вот навывбежавшись так и накланявшись, уходили окончательно за занавес, он появлялся перед зрителями и громогласно объявлял следующих.

Впрочем, время от времени он задерживал представление ожидавших артистов, и на манеже шутили, дурели, выполняли всякие номера Пат и Паташон. Поэтому я и не увидел их, как велел мне Антонию. Они уже были там, рядом с конференсье, и зал хохотал от их шуток-прибауток, как велел орденосец Дуров. Им, конечно, было не до меня.

Кроме артистов, в коридоре толпилась ещё одна группа. Это были взрослые парни, скорее, мужики, все одетые в одинаковые бордовые мундиры с золотыми пуговицами. Они толпились перед самым занавесом на манеже, за толстенные канаты закрывали, если нужно, манежный круг, они же его

открывали. Эти мужики таскали всякие сценические подставки, приспособления и всё другое, нужное артистам.

Одни заносили всё это и выносили, а другие, уже одетые совершенно обычно, словно муравьи, тут же растаскивали это имущество по разным углам, подчиняясь уже самим артистам.

Время от времени конференсье кричал, заскочив вовнутрь:

— Униформисты! Униформисты!

И те сноровисто бежали, чтобы выйти к манежу, как ни в чём не бывало.

Словом, Пата и Паташона я не дождался, но вдруг увидел тётю Люку. Она шла среди артистов, готовящихся к выходу, ступая, как цапля: осторожно поднимая одну ногу и выбирая, куда её поставить, потом вторую и так далее.

Она обошла всех и скромно пристроилась сбоку. Когда возник конференсье, она ласково протянула ему платок, чтобы он промокнул лоб. И пока тот промокал, что-то шептала ему на ухо, в то же время показывая в мою сторону. Я сжался от непонимания.

Знал ведь, что ничего плохого мне не грозит, а всё-таки сжался.

Конференсье, названный Антоном маэстро, выслушал Люку, посмотрел, куда она указывала, разглядел меня и кивнул один раз, потом другой. И исчез в складках занавеса.

Тётя Люка, трясясь своими телесами, совсем неосторожно и не как цапля подбежала ко мне, схватила за руку и потащила к незаметному выходу в зал. Маэстро вернулся, пока на манеже разворачивался какой-то номер, отыскал глазами Люку и показал ей сначала один палец, потом три. Она махнула ему рукой, потом передала воздушный поцелуй и шепнула мне:

— Пройди и сядь: первый ряд, третье место, оно свободно! Но ждём окончания номера!

Она высунулась вместе со мной из-за кулис, отыскала взглядом свободное место, раза три шёпотом переспросила, вижу ли я, куда надо пробежать, и подтолкнула меня вперёд, когда раздались аплодисменты, означающие, что очередной номер завершён.

Я проскакал свой путь при ярком свете прожекторов, и пожалуй, никто, кроме соседей, среди которых я поместился, не обратил на меня внимания.

С одной стороны от меня сидела солидная пожилая женщина, похожая на учительницу, а с другой — черноголовый пацан такого же, как я, роста.

Он поёжился от моего прибытия и убрал локти с ручек кресла. Учительница тоже отодвинулась вбок.

9

Я обрёл своё цирковое пространство и победно осмотрелся. Ведь я же выбежал из цирковых кулис, а это не так просто!

На первом ряду! В цирке! Наверное, каждый поймёт, что это не на первом ряду в кино. В кино на первый ряд, если сеанс детский, с билетами без мест, всякую малышню стоняют. Они сидят, неудобно задрав головы, но кто про их удобство станет спрашивать, я и сам сживал там, задрав башку, — ничего, всему своё время, потом сядешь, куда захочешь!

Но на первом ряду в цирке! Туда всякого случайного не пустят! А на билет в таком ряду у кого же столько денег наберётся!

И я сидел, наслаждаясь изо всех моих небольших и возможных сил! Прямо передо мной носились всадники на конях! И опилки летели в людей, сидевших на первом ряду. Все шарахались, уклоняясь, ахали и охали, но были довольны — это же опилки из-под красиво упряжённных цирковых коней с цветными султанчиками над их головами. Совсем рядом со мной акробаты показывали свои номера и та самая заслуженная артистка, которая просила закурить даже у меня! Она упёрлась одной рукой в какую-то ручку, и та стала выдвигаться вверх из специального устройства, и эта артистка, одетая во всё блестящее, как вы помните, стала кружиться, и всё освещение выключили и только в неё упирались лучами три прожектора из разных углов. Она сияла, серебрилась, прибор крутил её всё сильнее, и она превратилась в се-

ребриный пропеллер. И так крутилась, пока ошалелые зрители не догадались заплодировать — только тогда она сбавила обороты, наконец, встала на ноги и даже не пошатнулась. Вот молодчина!

Между номерами выходили на манеж Пат и Паташон, очень смешно чего-то говорили и представлялись, а потом Паташон подошёл к краю манежа, взобрался на ограждение и протянул мне руку в белой перчатке.

Что оставалось делать? Я пожал ему руку, а он сказал:

— Здравствуй, Никола!

Я ответил негромко:

— Здравствуйте!

— Тебя ведь Колей зовут?

Я кивнул.

— А тебя зовут Изя? — спросил он соседа, и тот тоже кивнул.

И тут он пошёл по всему первому ряду и всем ребятам пожимал руки, и уже не отгадывал, а просто спрашивал, как кого зовут и громко, на весь цирк, повторял это имя.

Возбужденный тем, что мне пожал хоть и знакомый, но настоящий же клоун, увлечённый тем, как он здороваётся с ребятами из первого ряда по всему цирковому кругу, я и внимания-то особого не обращал на то, что происходило на манеже.

А там униформисты и мужчины в халатах натягивали сетку, потом наверху, из-под самого купола, спускались и закреплялись блестящие никелированные трубы, и вообще шло приготовление к следующему номеру. Да ещё черноволосый сосед меня вдруг спросил негромко, слегка обернувшись:

— Сколько за раз платят? Рублей десять?

Я не возмутился, не удивился, а просто ничего не понял. Тарасился на этого, довольно уверенного в себе, мальчишку, и ничего не говорил. Потом пожал плечами.

— А! — сказал он разочарованно. — Значит, ты не подсадная утка! Просто случайная личность!

Этот Изя развернулся ко мне и шепнул, приблизясь:

— А я — подсадка! Хотя и бесплатная. У меня тут отец администратор. А то они и приплачивают, если надо.

Откинулся в своём кресле, прибавил погромче:

— Ерунду всякую! По мелочи! А дожидаться тут надо — ох, сколько!

Судьба нас с Изей познакомила без всяких наших желаний. Имена наши назвал Паташон, вот и всё, и потом, встречаясь в цирке или на улице, мы свободно говорили друг с другом на любые разные темы, будто старые знакомые, и Изя почему-то знал всего больше, чем я. При этом его знания свободно проникали во взрослый мир, вынося приговоры и поощрения с удивительной уверенностью.

Вот и тут, едва закончился переполох, затеянный Паташоном — и без Пата дело не обошлось, — Изя заметил, что это они дурачились специально, чтобы затянуть время и затянуть паузу, пока готовятся воздушные гимнасты.

Слова эти были мне очень знакомы, и я обругал себя за то, что проглядел важную часть подготовки номера моих друзей.

Загремела музыка, конферансье в бабочке вышел вперед и торжественно проговорил:

— Под куполом цирка! Воздушные гимнасты! Отважные артисты! Семья Антонио!

Опять заиграла бравурная музыка, и на арену выбежали две грациозные девушки. В блистающих плащах, в сверкающих трико, с шапочками, тоже сверкающими под цирковыми огнями, они походили на двух ящериц, вызвав долгие овации. Они встали в элегантные позы, подняв руки и лица к полутемному куполу цирка, но вдруг там вспыхнул свет, и будто в луче света слетело такое же, как девушки, существо. Сначала показалось, что существо это прыгнуло, но нет — оно быстро летело по почти невидимому шнуру или проводу — как поймёшь! И его со всех сторон освещали лучи прожекторов. С такой высоты — и откуда оно взялось, как туда залезло? — существо спустилось между девушек — во всём блестяще-голубом. Красота невиданная!

Музыка вновь взвилась вверх, эти трое протянули руки уже к занавесу, и оттуда вышли мои знакомые. Но в том-то и дело, что я их не узнавал!

Две стройные женщины в прозрачных пелеринах за плечами и в костюмах, похожих на купальники, следом за ними Сигурд, он же Сергей, и дядя Вава — этих я сразу признал. И за ними, в конце, Антонио.

Мужчины были одеты проще и скромнее. Узкие белые брюки, белые же — только на плечах что-то взблёскивало — туники, эдакие рубахи без рукавов, заправленные в брюки. И у всех на майках золотые “АА”, не очень-то, впрочем, разборчивые издали.

Я понял, что не успеваю за произошедшими переменами. Антона-то я видел в халате, а на манеж даже он вошёл совершенно неузнаваемым — в белом одеянии, торжественный и далёкий.

Они прошли под сеткой, захватившей побольше половины манежа, выстроились полукругом, подняв головы к куполу, и здесь я сообразил, почему Антонио иногда говорит, закинув голову. Он просто смотрел на последние ряды цирка — они ведь вверху, ближе всех к куполу: такова привычка артиста.

Я разглядывал женщин и с трудом отличил Леониду от Джиды — так они были похожи. Но теперь это были писанные красавицы, а не тётки, одетые по-домашнему. Совершенно молодые, с чёрными, разлётистыми бровями и розовыми, просто-таки цветущими щеками.

Но больше всего меня поразили девчонки! Одна была Анастасия, Настя, другая — Елизавета, Лиза. И правда, смахивающие на ящериц, они, как и матери их, совсем на себя не походили. Выпирающий Настин нос издали казался очень подходящим к торжественной обстановке — что было бы делать тут какой-нибудь курносой, да ещё, не дай Бог, толстухе. Нос и худоба вообще хорошо у Насти совпадали. И тонкие ноги, и тонкие руки — всё это, упакованное в блестящее зеленоватое трико, всякое занудство Настино, всякие её особенности — хорошие и не очень, будто бы затупевывали, прятали, да и вообще ни у кого не вызывали никакого интереса. Не было до них дела! Никому! И мне тоже!

Но главным, кто потряс моё воображение, был мальчишка в голубом сиянии. Тоже блестящий Гриня, сын Люки и Вавы, имел ещё за спиной короткий плащ или, может быть, мантию, и пока он спускался с высоты по железному тросу, откуда-то снизу дула струя воздуха, и плащ трепетал за ним. Выходило, с неба спускается какой-то воздушный маленький рыцарь, вот это да!

И его, этого Гриню, я тоже едва признал.

А дальше было вот что.

Сигурд и Вава по ступенькам блестящих железных стволов, расположенных друг против друга, полезли под самый купол цирка, поклонялись оттуда публике, а потом сели на площадочки, устроенные наверху, друг к другу спиной. Откуда-то к ним приблизились трапеции — металлические перекладины, подвешенные на тросы. Они умело всунули ноги в толстые мягкие петли по их краям, да ещё охватили трапеции согнутыми ногами и отлетели от площадки, раскатались, а потом опустились — каждый — вниз головой, да так, что увидеть друг друга они могли только в верхней точке своего раскачивания.

Получалось, качаются на своих качелях, зацепившись за них, пусть и надёжно, только ногами, а руки у них свободны.

И вот к Ваве поднимается Леонида. Как красиво поднимается! Под музыку, на каждой ступеньке узкой лестницы одну ногу отбрасывает, руку отводит, пелериной играет — будто бабочка по железному стеблю движется вверх. Наконец она поднялась, пелерину отцепила, и она улетела плавно вниз, Вава взял её ладони в свои и вдруг — р-раз! — опрокинулся вниз вместе с ней. Народ охнул! И я тоже. Как тут не охнешь?

Вава качнулся и раз, и два, и три — и выпустил Леониду из рук. Вернее-то, она сама полетела и, сделав несколько сальто-мортале в воздухе, попала в подставленные ладони Сигурда. Теперь вместе с ней раскачивался он и, раскачавшись, перекинул Леониду Ваве.

Все, конечно, видели, и ни от кого это не скрывалось, что Леонида, прежде чем кинуться вниз, пристегнула к своему серебряному поясу карабин от металлической нити, подтянутой куда-то совсем под купол. И не все замечали, что другая часть этого шнура в руках двух униформистов, а перед ними стоит Антонио и слегка придерживает страховку.

Все эти слова, вроде страховки и лонжерона, я услышал позже, а их значение узнал в самом конце этой истории, тогда же, как и все, я восторженно глядел на летающую Леониду, которую сменила такая же бесстрашная Джидида, а потом и на их обеих, перелетающих навстречу друг другу. Какая же точность требовалась, чтобы этот мах двух мужчин, бросающих женщин навстречу друг другу, не сорвался, не опоздал ни на мгновение или не оказался хоть чуть поспешным. Риск был невероятным, но и красота необыкновенная. Ведь всякий раз, чтобы поймать партнёршу, летевшую ему навстречу, каждый мужчина сам должен был качнуться в противоположную сторону — и выйти обратно, ей навстречу.

А потом настала очередь Антонио.

Женщины не спустились вниз по лесенке, а спрыгнули на сетку, растянутую внизу. И я сразу понял: если прыгать на прямые ноги — сеть подкинет тебя вверх, а если ноги согнуть, то эту упругость сетки прыгун поглощает. Очень красиво действовали тут законы физики, до которой пока что ещё не добралось моё образование. Однако, чтобы понять, часто достаточно увидеть. А уж потом узнать правила.

Так было и тут.

Но над сеткой теперь летал Антонио. Как он летал! Он переворачивался не один, не два раза, как женщины! Он ухитрялся, поджав колени к подбородку, перевернуться раз пять, пока летит из рук Вавы в руки Сигурда или наоборот. Вот это было да! Вот это были смелые люди!

В какое-то мгновение я посмотрел вниз и увидел, что сейчас перед униформистами стоит Люка! В каком-то балахонистом одеянии, чтобы скрыть полноту, она держалась за трос, переступая то вперёд, то назад, и ничего вокруг себя не видела — не могла видеть — потому что следила за переворотами Антона.

И я удивился — тут бы надо стоять мужику, а не женщине! Но за её спиной трое униформистов, тоже задрав голову, держали окончание троса, упакованное в материю, и у этого троса имелись большие петли. Но всё равно Люка держала трос Антонио. Страховала его.

Словом, семья воздушных гимнастов Антонио вовсю крутилась под куполом цирка. Наконец, музыка умолкла. Заверещали барабаны, предвещавшие особого рода опасность.

Вперёд вышел конферансье и произнёс:

— Смертельный номер под куполом цирка. Полёт без страховки!

Антонио, стоя на площадке с Вавой, демонстративно отцепил трос. В тишине я услышал, как он сказал:

— Хоп!

Похоже, это означало — порядок. Вава ухватил его за запястья и ответил:

— Готов!

Тот сделал стойку на руках Вавы, крикнул: “Пошёл!”, и они понеслись вниз, на три четверти круга, потом полетели назад, и на самой высокой точке полёта Вава выпустил Антонио из рук, и тот, совершив три красивых кульбита, попал в руки Сигурда.

Тот принял его, крикнув: “Хоп”. И только тут до меня дошло, что их короткие команды, тогда, во дворе, за нашей общей едой, это просто-напросто их правила, их язык, их, в конце концов, жизнь и порядок, нарушать которые нельзя-я!

Крутанув Антонио пару раз и снизив скорость, Сигурд, он же Сергей, аккуратно отпустил Антонио и он, распластавшись всем телом в воздухе, раскинув руки, изобразив ласточку, полетел вниз. Все ахнули! Но он аккуратно и твёрдо упал на сетку и взлетел снова, довольно высоко, почти до уровня двух, его подававших друг другу партнёров. Снова опустился, чуть согнув но-

ги, и отскок получился ниже. Ещё разок, и, наконец, совсем остановился, шагнул к краю сетки и, аккуратно перевернувшись, встал рядом с детьми.

Сверху прыгнули Вава и Сигурд.

Гремела музыка. Стонали аплодисменты.

А Изя сказал:

— Ох, этот Сидоров! Опасно! Но красиво!

10

Царило лето, и хоть время было позднее, наверное, часов под одиннадцать, никто, похоже, в нашем городке этого не замечал, словно вечер только начинается — таковы обманчивые северные правила.

После цирка я шёл удивительно неспешно для своего торопливого характера, будто снова и снова пересматривал картинки с сегодняшними событиями.

Ну да, я бывал в цирке и раньше, конечно же удивлялся и хлопал в ладоши, но мы сидели с приятелями в последних рядах шапито и только теперь я понимал, какая здесь таится великая разница — ряды последние и самый первый ряд!

И эти люди, конечно, наши новые знакомые! Наши квартиранты, да и все Антонию, вся эта неродная семья воздушных гимнастов под куполом цирка!

Самый первый мальчишечий вопрос, который лез в голову, был простым, будто гвоздь:

— А ты бы так смог?

Я даже жмурил глаза, чтобы представить себя под самым куполом цирка! В голубом, как у Грини, костюме! Перелетающим от Вавы к Сигурду — ну что и за имена такие?

И ничего у меня не получалось! Нет, даже просто в воображении моём не хватало у меня отваги вот так перелететь от одного дядьки к другому, пусть даже прицеплённым к тросу и без всякого риска для жизни! Не получалось, и всё тут! Страшно было даже подумать!

Но как же они-то? Почему даже Гриня пролетел, я уж про взрослых не говорю. Они-то как это делают? Тренировки без конца? А страх? Куда его денешь? Ведь без него-то невозможно!

Дома меня встретили с напряжённым подозрением. Мама спросила:

— Ну как, доволен?

— Обалдеть! — ответил я одним всеобъемлющим словом.

— А наши? — поинтересовалась бабушка.

— Я про них и говорю, — задумчиво ответил я.

Моя задумчивость маму насторожила. Наверное, она откуда-то знала, что из цирка с таким настроением не возвращаются.

— Значит, покорили тебя наши циркачи? — спросила она с некоторой долей ревности в голосе.

Я посмотрел на неё с печалью. Ещё подумал: она говорит именно так, потому что не видела всего, что видел я. Но ответил-то совсем по-другому. Как эта Анастасия мне внушила:

— Мама, — сказал я, — они не циркачи. Артисты.

— Какая разница? — удивилась она.

— Цирковые артисты, понимаешь, — мягко настаивал я. — И надо говорить не циркачи, а цирковые.

— Циркачи, цирковые, — нахмурилась мама, не придавая значения разнице этих слов. — Раз работают в цирке, значит, циркачи!

Спорить с мамой я не любил. Частенько это боком выходило — она сердилась, а я расстраивался, что меня не понимают. Потому сказал ей:

— Как хочешь! Но лучше при них слово “циркачи” не говорить.

— Учту! — усмехнулась она. Но не учла ведь.

Цирковые вернулись поздно, в первом часу ночи, и бабушка ждала их на улице. Они старались не шуметь, но это неважно получалось: то вдруг Леонида повышала голос, то хихикала Анастасия, а то и голос Антона прорезался. Хорошо, что хоть остальных-то они после представления сюда не привели.

Не глядя на поздний час, они снова вышли на лужайку перед домом, и засипел их примус. Там, во дворе, они говорили, голос не понижая, и я бы с удовольствием к ним присоединился, если бы не мама.

Она приказала мне довольно сухим голосом:

— Спи! Поговоришь завтра.

Но я был возбуждён увиденным. Снова и снова ко мне возвращались разные картинки и слова, услышанные в цирке, и я как будто катался по невысоким и пологим горкам, опять и опять рассматривая необыкновенные события, произошедшие со мной.

Большой дядька с галстуком-бабочкой говорит мне:

— Здравствуйте, Николая!

Паташон глядит серьёзными глазами:

— Кто самый лучший четвероногий друг?..

Орденоносный дрессировщик кивает мне, как взрослому:

— Не только люди устают, но и звери!

И снова его немолодое лицо и костюм с редкими блёстками:

— Смейтесь, ребята, смейтесь!

И, конечно, верблюд! Высокомерно жующий жвачку и хитро поглядывающий с высоты. Лукавый Яша.

Наутро я, как огурчик, едва допив чай, выскочил во двор в надежде встретиться с отважными друзьями. Но там никого не было, только моя бабушка драила гимнастическую кастрюлю, как будто вышедшую из тяжёлых боёв с противником: бока её обгорели черным, словно это и не обыкновенная кастрюля, а танк, обожженный взрывами.

— Срамота да и только, — ворчала бабушка, — взрослые люди, а грязница, как в свиарнике.

Впрочем, её ведь никто не просил драить чужие кастрюли. Но я знал вполне определённо — всё, что в бабушкином дворе не соответствовало порядку, тут же исправлялось её руками.

Я нетерпеливо бродил по сто раз истоптанному пространству, выполняя бабушкино указание, сходил за хлебом, и получил его по карточкам, а дверь квартирантов была всё закрыта и оттуда не вылетало ни звука. Пришлось высказать беспокойство, вроде того, что, мол, живы ли они или не ушли ли куда пораньше, но бабушка махнула рукой и мудро сказала:

— Поздно ложатся — поздно встают! Рано ложатся, рано встают!

Пришлось выступить на защиту интересов новых друзей.

— У них представление до ночи! Вечером только работа начинается!

Бабушка посмотрела куда-то наверх, как Антонио смотрел на верхние ряды в цирке:

— Я и говорю: циркачи!

И было в этих её словах что-то новое для меня. Какое-то странное пренебрежение. Она его объяснила — для себя неожиданно:

— Приедут — уедут! Сегодня здесь — завтра там! Поедят — не уберут! Насорят — не расчистят! Всё на минуточку! Никакого постоянства!

— Зачем же ты пустила их? — спросил я. И ещё сказал: — Разве они виноваты, что выбрали цирк!

И взорвался:

— Бабушка, да ты знаешь, какие они смелые!

И тут раздались аплодисменты. Я испуганно обернулся. У дверей в свою комнату стоял Антон и негромко говорил:

— Bravo, Николая! Спасибо тебе за твой отзыв. А вам, Марья Васильевна, сама Леонида спасибо скажет!

Он отодвинулся, из-за его спины выступила Лена в своём затрапезном халате и всплеснула руками:

— Ой, Марья Васильевна! Поедьте с нами! Вы будете убираться, а мы вас станем обожать! Всю страну увидите! Будете кататься, как сыр в масле!

Бабушка хотела сначала улыбнуться, но чем дольше слушала все эти предложения, тем больше пугалась. Наконец, махнула на Леониду тряпкой, остановила её красноречие:

— Ну, подумаешь, почистила им кастрюлю! Просто больше не запускайте!

— Ой, Марья Васильевна, — запрочитала Леонида, подходя и протягивая ей свои руки, — посмотрите на них. Если бы вы знали, как я ими дорожу! Сколько им достаётся! Понимаете, это наш хлеб, наш суп, наша одежда! И его руки, — она схватила Антона за локоть, — то же самое!

И поклонилась бабушке:

— Приходите, пожалуйста, на представление! Посмотрите, какая у нас работа! Вы всё сразу поймёте!

II

Как-то всё подпортила эта вычищенная кастрюля.

Я хотел квартирантам нашим выразить восхищение, задать свои многочисленные — но не до конца придуманные — вопросы, удивиться тому и этому и расспросить про увиденное за кулисами — но после сцены у кастрюли всё утихло, увяло и пошло по другому пути.

Леонида разожгла примус, поставила чайник, вылезла неумытая, заспанная Настя, и я снова понял, что нос у неё всё-таки слишком велик для обыкновенной жизни. Мне расхотелось изъяснять вчерашние восторги, и я не придумал ничего другого, как спросил Антона:

— А чем верблюд плюётся?

Тот пожал плечами, присел на скамейку, кем-то врытую в землю, сказал:

— А чёрт его знает! Вроде слоной! Но ещё и какой-то жвачкой. Он, наверное, в пустынях-то наелся всяких колбочек, пережевал, спрятал их в горбу своём, а теперь вот от скуки отрывает и жуёт.

— А потом плюётся в воздушных артистов, — серьёзно сказала Леонида.

— А в клоунов? — понял я её юмор.

— В клоунов он — ни-ни! А то засмеют до смерти, — всё так же грустно ответила Леонида.

Мне понравилось её чувство юмора.

— Ну ладно вам, — сказал Антонио и повернулся ко мне. — Итак! Вырази своё впечатление.

— Впечатление? — переспросил я. И тут сказал совсем по-взрослому: — Да разве это впечатление? Это — восторг! Это — восхищение! Это — фантастика! Это... это... это, — брякнул я, ликуя, — сумасшедший дом!

— Вот, — воскликнула из-за спины Анастасия. — Наконец, слышу правдивые слова! Сумасшедший дом!

И все они покатались по нашей зелёной траве, как я, когда был совсем маленьким. Леонида свалилась с коленок, на которых стояла перед примусом, Антонио свалился со скамейки, конечно, нарочно, Настя каталась, задрав ноги и показывая совсем не артистические, без всяких блёсток, трусы.

Один я стоял, зирался и не понимал, что происходит со смелыми людьми и взрослыми артистами.

Не видел я раньше, чтобы люди так радовались. Или они дурачатся? И даже издеваются! Надо мной?

Обедать они ушли к Джиде и Сигурду, по-русски — Сергею, а потом собирались идти на репетицию. Вернулись часа за три до представления и ушли спать. Мне хотелось поспрашивать, пошутить, поговорить о том, о сём, но они миновали меня скучные, собираясь на сон, как на работу.

Назавтра всё повторилось. Поздно встали, позавтракали, поболтались без дела, ушли обедать к дяде Ваве с Люкой, оттуда на репетицию, потом домой и вечером на представление.

Опять ужинали ночью во дворе — хорошо, что погода была отличная и прятаться не приходилось, ведь их комнатка была слишком мала.

Общий обед пришёлся на воскресенье, мама была с утра дома, и снова цирковые стали звать нас к столу, снова запахло не по-нашенски вкусными ароматами, однако бабушка и мама наотрез отказались. Мама твёрдо сказала: “Неудобно. Пора и честь знать. Ещё война не кончилась, а мы тут...” Она не договорила, а я не понял, при чём тут война, и немножко огорчился, но здесь в наше окно постучали, вошёл Антонио, очень серьёзный, и сказал, что если обедать мы не хотим, то это наше дело, но весь но-

мер просит нас на минуточку выйти. И когда мама, бабушка и следом я вышли на лужайку, всё тот же Антонио заявил, обращаясь к моим женщинам:

— Дорогие Милица и Марья Васильевна! Сегодня воскресенье! У нас в цирке полно народу, но мы договорились с администрацией, что нам выделят три самых почётных места для вас!

— Мы очень хотим, — продолжал он торжественно, — чтобы вы увидели наш номер и поняли нашу работу! Ей-Богу, мы не бездельники! Конечно, мы гастролёры! Но мы не гастролёры в переносном смысле слова, сегодня здесь, а завтра — там! Напротив, мы хотим остаться в ваших сердцах, Милица и Марья Васильевна!

Это была серьёзная сцена. По всему её виду я понял, что бабушка откажется! Что-нибудь придумает! И она придумала:

— Вот пусть Миля с Колей! А я не могу! У меня же кот! Тимофей! Он же всюду за мной ходит! Я даже поэтому на базар не хожу, он за мной бежит.

Но это же было несправедливо, нехорошо! Люди зовут показать своё искусство — и какое опасное! — а тут выдумывают какого-то кота! Он, конечно, и взаправду обожает свою хозяйку, мою бабушку, но он же и меня любит, этот наш любимый Тимофей. Так неужели же!.. И я пожертвовал собой. И бабушку от неловкости уберёг.

Я выступил вперёд и сказал:

— Мама! Бабушка! Вы идите, а я с Тимофеем-то посижу. Не беспокойтесь! Да я ведь и уже видел! Номер-то!

Таким вот простецким манером узелок развязался, потрясённая моим самопожертвованием, бабушка мелко кивала, соглашаясь, а мама громко поблагодарила за приглашение, и все мы вошли в комнату. Я, чтобы взять книжку и уткнуться в неё, уклоняясь от лишних слов, а бабушка и мама, чтобы скрипеть дверцей шкафа и проверить, какое платье из двух возможных надеть каждой по этому торжественному случаю.

Потом во всём доме стихло. Артисты ушли раньше, бабушка и мама, чтобы только к представлению попасть, и я провожал их с Тимофеем на руках, который громким голосом мурлыкал, балдея от моей неожиданной ласки и вообще не печалась по случаю отбытия своей главнокомандующей хозяйки.

Мама взглядывала на меня смешанным взглядом. Ей вроде что-то хотелось сказать мне, но в этом намерении таилась некоторая неуверенность. Это говоря очень мягко и деликатно. Прямо же выражаясь, она предполагала выразить мне соображение о некоторой моей необдуманности — когда я переступаю незримую черту, разделяющую взрослых и незрелых, отправляя бабушку в цирк против её воли.

Но мама мудро воздержалась от выражения своей мысли. Ведь я, в конце концов, веду себя благородно, давая возможность бабушке посмотреть цирковое представление собственных же квартирантов! Да и вообще, ничего плохого в моих рекомендациях пока что не содержится.

Они ушли, а я усеялся читать, кажется, “Остров сокровищ” Стивенсона, и Тимка грел мои ноги, не уставая громко мурлыкать. Настоящий солист.

А когда они вернулись, я их не узнал. И мама, и бабушка с сияющими глазами рассказывали мне об увиденном такими словами, будто я взрослый, а они — дети, впервые попавшие в цирк, — какая это красота и какие там чудеса. Но Антонио! Антонио! Воздушные гимнасты под куполом цирка их покорили своей смелостью.

— И правда! — воскликнула наивно бабушка. — Надо пожалеть их руки-то!

Мама кивала, охала, переодеваясь за дверцей шкафа, соглашалась:

— Да разве только руки? Сколько сил они расходуют! Сколько нервов! А с костями что делается! Я же всё-таки медик!

В ту ночь, несмотря на то, что впереди был понедельник и маме спозаранку бежать в госпиталь, все мы дождались возвращения семьи Антонио.

Мама бросилась первой к Леониде и крепко обняла её, как родную.

— О, Господи! — говорила мама. — Просто не понимаю, как это у вас получается! И Настенька! Какие вы молодцы! Чудеса какие-то!

А бабушка обнимала Антонио. И он тут сказал:

— Вот мы этого и хотели! Чтобы вы поняли, что у нас за работа!

Дальше засипел примусок, забурлил чай, появилась разная еда, и день снова закончился пиром, где мама и бабушка оказались почётными гостями, и по случаю такого почёта меня не отослали спать. Так что я стал не просто свидетелем, но и участником вечера любви и дружбы.

Когда чашки и ложки были отложены в сторону, неторопливо заговорила Леонида. В отличие от Антонио, она не восклицала, не поднимала голос, а рассказывала, как женщины рассказывают свои истории в магазинной очереди.

Я не раз стоял в таких очередях рядом с бабушкой — маме было некогда, она же работала в госпитале, — и вот мы стояли, например, за мукой, целыми часами. Муки чаще всего не было, только ещё ждали, когда придёт машина, груженная мешками, да потом начнут развешивать по два килограмма на человека, а деятельные тётеньки ходят вдоль очереди и просят плюнуть самому себе на ладошку и по этой мокрой ладошке пишут химическим карандашом твой номер. Ты можешь куда-нибудь сходить, потом вернуться, но твоя очередь не пропадёт, потому что написана на руке. А перед самой раздачей муки всё те же женщины, чаще всего сами из конца очереди, стоят и проверяют, правильно ли идут номера.

Ну, так вот, пока выстоишь эту очередь, столько заунывных историй слушаешься от женщин, одинаково одетых, в чёрных и серых пальтишках, все до единой с платками на головах, — ни о каких шляпках никто тогда даже не помышлял, потому что засмеют исподтишка, окружают молчаливым презрением, а потом ещё кто-нибудь и ляпнет что такой мадаме-то, в шляпке!

И вот одинаковые женщины — и старые, и не очень — любили поразговаривать между собой. Негромко, невыразительно, без красивых слов и громких выражений, рассказывая, как принесли похоронку, как обокрали квартиру, как потерялись карточки или как эти карточки вырезали в какой-то толчее — вместе с карманом, как сажали картошку за городом, как её убирала и таскала на собственном горбу не за один километр, и какую досаду приносят в своих портфелях детишки этих несчастных женщин — вместо пятёрки — двойки, угрожающие переэкзаменовкой на осень...

Я, бывало, слушал, слушал эти истории, и всё во мне будто останавливалось. Кровь в жилах не текла от уныния, безрадостным казался даже солнечный день. Я покачивался, устав от долгого стояния, прислонившись к стене, и бабушка, глянув на меня разок-другой, отправляла домой — поучить уроки целый час, а потом всё-таки вернуться: жаль, если муку станут выдавать, а моей ладошки тут не окажется.

Я всё это долгое отступление пишу для сравнения.

Леонида медленно и тягуче рассказывала, как они переезжают из города в город и какое это мучение — ехать дальше, почти каждые три месяца, не успев устроиться и привыкнуть хоть к какому-нибудь местечку.

— Мы, наверное, объехали сто городов, — сказала Леонида, — но они все во мне соединились в один. Знаете, выхожу из цирка, иду по знакомой как будто дороге, знаю, что вот тут должен быть поворот! А поворота нет! Я перепутала города! Понимаете! Похожие улицы в разных городах сливаются в одну, совершенно неправильную.

Потом она говорила о стирке.

— Это выше моих сил! Руки у нас испытывают тяжёлые нагрузки! Мне нельзя съесть лишнего! Какие-нибудь полкило лишнего веса боком выйдут Ваве и Сигурду. Они и так страдают растяжениями. Чуть-чуть надорвался — и надо отменять номер. У нас все незаменимы! Понимаете! Каждый бросок и каждая передача рассчитаны, будто мы конструкторы!

Тут она увидела Анастасию.

— Вот Настя! — кивнула на неё. — Считается, что учится в седьмом классе. Но не учится! А когда? Она работает, мы говорили. У неё трудовая книжка с четырёх лет, это в цирке разрешается, дети включаются в номер. Сначала просто выходила с нами в костюмчике. Срывала аплодисменты. Сейчас готовится к серьёзному номеру. Лиза с Гринеёй тоже. Но надо пройти тех-

комиссию, это непросто. Гриня прошёл, но ограниченно. Вот наша замена.

Мама попробовала выразить восхищение Настей, но Леонида махнула рукой:

— У неё беда в школе! Меняем одну за другой! Ей бы надо подтянуться! У вас нет хорошего учителя математики-физики? С остальными справимся, а тут мы отстаём!

Мама горячо вызвалась найти учительницу, а бабушка ответила, что берётся стирать им бельё.

— Мы всем заплатим! — воскликнула благородная Леонида. — Господи! — подняла голову к последним рядам. — Какие добрые люди!

12

Добрые люди сильны задним умом. Сначала взваливают на себя обещания, а потом сами же мучаются и себя проклинаят. Добро вообще не бывает лёгким, иначе — оказывается легковесным и не добром вовсе, а обманом. В лучшем случае, самого себя.

Настоящее добро — тяжёлая ноша, мучительное обязательство, безрадостная тягота. И бесконечное терпение.

Всё это я уже узнал потом, взрослея, а когда у нас жили цирковые циркачи, даже не догадывался о таком правиле.

Не догадывался, но видел.

Бабушка таскала ведрами воду, грела её тазами на примусе. В результате мне приходилось ходить в керосиновую лавку раза в три чаще, чем всегда, и хотя лавка эта располагалась неподалёку, в конце нашего квартала, не ощутить этого было невозможно, потому что в очереди за керосином приходилось проводить самое малое час.

Бабушка моя милая, Мария Васильевна бездельницей никогда не слыла, но теперь мне становилось её жалко. Налив горячей воды в старое деревянное корыто, она тёрла это чужое бельё о стиральную доску, хозяйственное мыло, чёрное цветом, пузырилось без всякого удовольствия с его стороны, потому что было плохим, самодельным, с рынка, и бабушка, отирая пот со лба и взглядывая вокруг, смотрела каким-то замученным, загнанным взглядом, потому что конца и края этой стирке не предвиделось.

При этом Леонида отдыхала, в лучшем случае, готовила еду на той же лужайке, и лишь вежливо кивала бабушке, одобряя — подбрасывала сухих щепочек в очаг её добродетельности.

Анастасия — Настя тоже испытывала благородное содействие. Сначала к ней пару раз пришла учительница из нашей школы Людмила Николаевна, но в комнате воздушных гимнастов было тесно и душно. Они позанимались во дворе, под шум примуса и плеск корыта, Людмила Николаевна, обращаясь к Леониде, сказала, что отставание действительно далеко зашло, и предложила, чтобы Настя приходила к ней домой: там потише.

Анастасии днём теперь спать не приходилось, может быть, ещё потому она возвращалась от учительницы усталая, в растрёпанных чувствах, как однажды выразился Антонио. Один раз дочка даже кинулась отцу на шею, заплакала и запищала:

— Зачем это нужно? Я ничего не понимаю! Я буду работать номер, и этого хватит!

— Э-э! — сказал ей папа, как будто отдавая гимнастическую команду. — Так не пойдёт! Без аттестата зрелости жизни нет!

Я навсегда запомнил эту фразу, не правда ли, вполне замечательную: “Без аттестата зрелости жизни нет!” Я ещё не раз её вспомню! А тогда...

Тогда светило солнце над головой, неслышно, будто лёгкие облака на небе, шло моё детство, и единственная настоящая тревога жила во мне — где мой отец?

И тут пришёл среди бела дня, а не по расписанию регулярных обедов дядя Вава-Штинц вместе с женой Люкой и сыном Гриней, Сигурдом с Джидой и Лизой. Вава держал в руке газету, свёрнутую трубочкой, был тороплив и радостно улыбался.

— Ура! — говорил он всем нам. — Наверное, война кончится!

И когда его окружили все остальные воздушные гимнасты, объяснил громко, чтобы было лучше слышно: американцы бросили на японцев две какие-то очень большие бомбы, и теперь, похоже, всё!

— Американцы, не наши? — уточнил Антонио.

— Не наши, — кивнул Вава.

— Ну, это ещё ничего не значит, — отозвался из-за Вавиной спины Сигурд. — Может, как раз всё снова начнётся.

— Ужас! — сказала бабушка. И в её бессильном восклицании слышалось отчаяние от того, что предсказывал Сергей. И, наверное, от груди мокрого белья, лежавшего на краю корыта.

Взрослые разместились на траве и притихли.

— Хоть бы скорее конец! — вздохнул Вава и, опустив голову, сказал: — Я как вспомню — нас везут в теплушках к Москве... Декабрь, холодрыга, шинелишки тепла не держат. И задача — винтовку добыть в бою.

— Ты добыл? — спросил Гриня.

— Добыл! — усмехнулся Вава и вдруг задрал рубаху. — Ты же знаешь!

От живота до спины, по боку, тянулся шрам с широкой стёжкой, и тётя Люка заплакала в голос.

— Не реви, — сказал ей Вава. — Реветь поздно, я уже здесь.

И вдруг, обращаясь к моей маме, разговор резко развернул:

— Миля! А знаете, как ещё вашу Черногорию зовут? — И не дав маме даже моргнуть, торжественно проговорил: — Монтенегро! Красиво, а? Горы! Чёрные!

Мама выдохнула из себя весь воздух — то ли от смущения, то ли от возмущения — и почти прошептала:

— Да не знаю я никакой монтенегры!

И скрылась за дверью, будто её обидели.

А Вава будто ничего не заметил, отвалился на спину, проговорил в восторге:

— Вот бы где побытывать! А заодно покупаться!

Все промолчали, только переглянулись зачем-то.

Но весть о близком конце войны что-то переменяла в бабушке и маме. Как будто выдохнув из груди застоявшийся воздух, бабушка с новой силой принялась стирать их бельё, хотя и выбиваясь из сил, мама же какими-то невидимыми путями выясняла, что Настя чуточку окрепла в своих знаниях, однако когда хлопотунья попробовала заикнуться ещё об одной, о Елизавете, репетиторша начисто от предложения отказалась.

И маме вроде как шепнула, что многие дети учатся по математике и физике дурно, материал не понимают, и тогда перед экзаменами лучше всего писать шпаргалки. Во-первых, утверждала где-то за стенами школы опытная учительница, шпаргалки — это сквозной конспект за целый год, письменная подготовка. И это главное. А во-вторых, за шпаргалки ещё никого из школы не выгнали. Так что конспект полезен для знаний, а риск невелик, особенно если учитель не хочет шуметь и скандалить. К тому же он отвечает на успеваемость.

Всё это я услышал краешком уха из разговора, понятное дело, не предназначенного для меня. А ведь такие тайны звучали для нас наивно, давно всё понявших. Да и как ещё жить по-другому, когда после каждого класса надо сдавать экзамены, а после старших классов, начиная с седьмого — так целый их ворох.

13

А потом настала школа.

Все как будто двигалось по-прежнему: и солнышко над головой, и почти летнее тепло, и бабушка на лужайке, без конца склонённая над корытом.

Но всё же кто-то немножко отодвинул от нас это солнце — оно уже утишало свой пыл, когда выходишь из школы после пяти уроков. А я учился в первую смену.

Ничего особенного не происходило в классе, просто притирались к своим насиженным прошлой зимой партам, обнюхивали вкусно пахнущие учебники, если, разумеется, именно тебе доставались новые, вслушивались в подзабытый голос учителя и будто с чистого листа записывали в свою память неизвестные, пусть не ахти какие сложные знания.

И снова грянула радость. После перемены быстро вошла наша любезная учительница, упёрлась кулачками в свой стол и проговорила:

— Все! Полная и безоговорочная кашитуляция! Война закончилась.

И снова мы кричали, как в мае, и хоть не бегали по классу, но все вскочили со своих мест, и я думал про папку, про отца, который, — ну, наконец-то! — должен теперь вернуться домой! Раз и навсегда! И никуда никогда ни за что не уезжать!

Все уроки, конечно, пошли насмарку, и наша Анна Николаевна уже, наверное, пожалела, что не сделала сообщение в конце уроков. Но как бы она смогла? Кто бы вообще такое смог?

Я прилетел домой по солнечной улице, хотел обрадовать бабушку, но она уже всё знала и бросила свою стирку, стояла, уперев руки в боки, и что-то весело говорила Леониде.

— Не горюй в такой день! Не стоит! Вы же скоро уедете? Ну, так в новой школе скажете, что в старой недоучили! Кто же вас не пожалеет?

— Эх, Мария Васильевна, — кручинилась Леонида, — хватит уж того, что я неучёная! Что дома у нас нет! Что скоро вот поедем куда-то! И нас аплодисментами встретят, как всегда!

И мотала головой, лицо опустив.

— Может, и аплодисментами жив артист! Но хочется уверенности, понимаете? Надёжности. Всю жизнь гастролировать — тяжкая доля! И вот Настя... Она же не виновата!

Ни Насти поблизости не было, ни Антонио — они убежали к Ваве и Люке, решили сегодня не спать. И вот бабушка разговаривала с Леонидой.

— Леночка, — говорила, — вы ещё молодая, вам теперь-то, после войны, все дороги откроются, цирков, наверное, настроят в каждом городе! Станете знаменитыми на всю страну!

— Да, да, — говорила Леонида и почему-то плакала. — Только доживёшь до одного, требует другое. И так всё лезешь, лезешь! Под самый купол! А вот сорок лет! У цирковых — это старость, вы знаете? И что дальше? Без образования, без крыши над головой! И все силы истрачены! Страшно!

Не всё мне было интересно в этом разговоре, но я сообразил, что Леонида очень серьёзный человек. И что она очень много знает — больше, чем бабушка моя любимая, например. А может, и больше, чем мама. Она знала про жизнь, нам неизвестную, и видела то, что не видели они.

И ещё — она что-то предчувствовала.

14

В бабушкиной стирке бывали перерывы. Корыто с мыльной пеной стоит во дворе, бельё просохло на солнце, и она, бедолага, уходит домой, чтобы бельё это выгладить.

Перед тем, ясное дело, раздувает утюг. Про утюг электрический в ту пору и, по крайней мере, в наших местах не слыхивали и бельё гладили тяжёлыми железными утюгами, в которые надо сперва положить древесных углей, потом, как в печке, кинуть бересты, раздуть огонь и качать-качать этот утюг, пока он не разогреется так, что плюнь ему на его гладкую поверхность, которой по белью водят, он зашипит, признается нехотя: “Готов! Готов к употреблению!” Так что для глажки надо было готовиться особо, уважительно относясь к утюгу с дырочками по бокам, долго размахивать им, да побыстрее пошевеливаться, пока гладишь, чтобы он не выбился из сил, не остыл, не устал, как живое существо.

Поэтому бабушка всегда приговаривала разные разнообразные похвалы своему утюжищу, уговаривала его быть потерпеливее, погорячее, будто с котом Тимофеем беседовала про общую жизнь, когда горемычную, а когда

и ничего себе. Вот и война кончилась, толковала она утюгу, глядишь, жизнь наладится и не будет нужды тебе, престарелому, надрываться в своих бесконечных трудах, обихаживая людскую одежду, а выдумается что-нибудь другое, полезное и прогрессивное.

Именно в такую паузу, когда бабушка общалась с утюгом на кухне, и двор был свободен от взрослых глаз и ушей, произошло событие малозначительное, но неприятное, даже, можно сказать, мерзкое и вовсе не из жизни людей, ещё не вполне самостоятельных.

Из своей комнаты вдруг, озираясь, вышла Настя и подошла к корыту, поманив меня пальцем. Я охотно приблизился, чтобы поговорить о разных разностях, но она поднесла палец ко рту, мол, молчи, и достала из кармана своего платяца спичечный коробок. Оглянувшись, она повернулась спиной к дверям — и коробок открыла. Оттуда она двумя пальцами вынула что-то скользкое и развернула это, брезгливо кривясь при этом. Я даже на шаг отступил, но она прошипела, кивнув, чтобы я прикрыл её своей спиной, если приблизится кто-то из взрослых.

В руках у артистки повисло что-то похожее на резиновый палец, только побольше. Анастасия налила туда воды из мыльного корыта, и эта оболочка стала похожа на часть мужского тела, которой писают.

Я попробовал взглянуть в Настино лицо и поразился её выражению. Горбатый нос обострился, зубы очертились в какой-то истерической гримасе, а в глазах стояли слёзы.

Она вылила воду в траву, торопясь и поэтому дёргаясь, засунула резинку в коробок, неумело, по-девчачьи, размахнулась и изо всех сил кинула его в сторону кустов. Но коробок был лёгкий, до кустов не долетел, и она схватила его ещё раз, снова кинула, и опять он не долетел, а только с третьего раза скрылся в зарослях крапивы у самого забора.

Она вернулась к корыту и долго мыла свои руки, потом ополоснула своё лицо, повернула его ко мне. Хлопья мыльной пены сползали у неё по подбородку, и она спросила озлобленно:

— Где чистая вода?

— В кране, — логично ответил я.

Но она топталась, похоже, не хотела входить в дом, где спали родители, и тогда я побежал на кухню бабушки, откуда вынес ковшик с чистой водой.

Настя ополоснула лицо, руки и как заправская крестьянка вытерла их подолом своего платья, совершенно не стесняясь меня и задрав этот подол как ей удобно.

Потом уселась на лавочку, вздохнула, будто сделала тяжёлую работу, и сказала, чтобы, может быть, хоть что-то сказать. Или объяснить мне всё происшедшее.

— Вот! — проговорила она усталым голосом, — даже детей им иметь нельзя.

— Почему нельзя? — удивился я. — А ты?

— А меня они из детдома взяли. Совсем маленькую. Я не знаю, кто мои родители!

— Вот ещё! — удивился я. — Откуда ты знаешь, если была совсем маленькая!

— Ты плохо понимаешь, что такое цирк, Коля-Николя! — выдохнула Анастасия. — Там всем про всех известно. Съезжаются и разъезжаются. Если даже не знакомы друг с другом, то и за тысячу километров сплетничают о тебе.

Она по-мальчишечьи сплюнула и проговорила:

— Это называется цирковое братство.

Настя встала, чтобы идти, и глянула на меня:

— Помнишь, — спросила, — я тебе говорила, что мы не циркачи, а цирковые? — Посмотрела куда-то вверх, как все Антонио, и тяжело проговорила: — Но когда артисты цирка сплетничают друг о друге за тысячи километров, они — циркачи. Понимаешь?

Я кивнул, не очень, конечно, понимая, но возразил для утешения, что ли:

— Так, наверное, у всех?

Она не ответила, пожала плечами, но в дом не ушла. Говорить было не о чем, и я спросил просто так, на всякий случай, почему Дуров её отца Сидоровым назвал? Перепутал?

— Да нет, — просто ответила Настя, — это наша настоящая фамилия. Антонио — для цирка. Для красоты.

Тут с треском, как в цирке, распахнулась наша бедная одностворчатая дверь и на пороге, красиво изогнувшись, появилась прекрасная Леонида, а за ней подтянутый Антонио. Он воскликнул:

— Доченька!

Анастасия сорвалась с лавочки, кинулась к ним, подпрыгнула и повисла руками на шеях взрослых. Прямо цирковой номер!

15

И наконец, грянул гром нашего счастья!

Мама после работы прибежала бегом, запыхавшись, и ещё от калитки крикнула:

— Папка возвращается!

Воздушные гимнасты Антонио в полном составе были во дворе, и бабушка тоже, и я, конечно же, взвизгнул и ринулся навстречу маме. А она подходила к компании и громко говорила:

— Пришла телеграмма. Начальнику госпиталя номер такой-то передать лаборанту такой-то! Демобилизованный старший сержант такой-то возвращается сменными эшелонами. Просьба не встречать и не беспокоиться!

— Поздравляем! Поздравляем! — закричали артисты, а Сигурд тут же удивился.

— У вас какой-то особенный старший сержант! Телеграммы про него шлют!

Мама махнула рукой, ответила:

— Этому-то я как раз не удивляюсь. Он же оружейный мастер. Чинит всякое оружие на фронте. Может, починил пистолет большому командиру! И попросил телеграмму послать!

— Такое может быть, — подтвердил дядя Вава, — и развернул целую картину. — Вообще в жизни всё может быть!

— Как и в смерти! — проговорила Леонида, а Антон разъярился. В первый и последний раз я увидел его таким.

— Зачем убиваться! К чему тосковать! Мы и так ходим по острию ножа! Я хожу! Хватит одного! Теперь вот она жаждет!

Он кивнул на жену, и из бурного обсуждения, которое развернулось на лужайке, я понял, что Леонида — Лена требует, чтобы ей разрешили то же, что делает Антон — номер без страховки. И оказалось, что она написала заявление в какую-то таинственную и всемогущую техническую комиссию, не спросив руководителя номера, а комиссия выразила по этому случаю удивление именно Антону и тоже в письменном виде.

В наставшей тишине Леонида объяснила, что их номеру давно пора выходить на новый уровень! Получать признание начальства! И повышать категорию, которая принесёт другую зарплату, репутацию, авторитет!

— Вы же знаете, что я могу, — говорила Леонида. — Да, Антон боится рисковать мной. Ну что ж, мы все рискуем!

Я ушёл в дом за мамой, они остались во дворе, громко разговаривая, а я понял, что Леонида хочет летать под куполом цирка без страховки.

Цирковые события развивались стремительно, и дня через три снова в ночном нашем дворе не стихали громкие возбуждённые голоса. Во время представления Леонида исполнила трюк под куполом без троса, который прикреплялся к поясу. А Настя — со страховкой. Анастасия-то махала рукой с лавочки, она, оказывается, давно уже репетировала свои кульбиты, и сегодня произошло просто выступление при зрителях, официальная премьера. Леониду же все обнимали особенно почтительно. Выходило, что она переступила какую-то черту, за которой начинается новая история воздушных гимнастов Антонио.

А я всё ждал отца. И мама ждала. И бабушка. И это ожидание — предвестие счастья, так надолго затянувшегося, слегка отодвигало нас от радостей и побед наших квартирантов.

Зрители благодарили их аплодисментами, а они старались для зрителей, и хотя я потихоньку уже начинал понимать, что такое цирк, всё самое серьёзное мне только ещё предстояло.

16

В неожиданной телеграмме про отца прямо говорилось, что его встречать не надо, но какая же сыновняя душа безропотно подчинится такому странному требованию?

Наутро я соврал, что пошёл в библиотеку и посижу там, в читальном зале, а сам отправился на вокзал.

Это решение я обдумывал полночи и ничего особенного не придумал, однако вынул из копилки несколько бумажных рублей и положил их в карман. Вот это я знал точно — вход на перрон нашего городского вокзала платный, и прежде чем подойти к поездам, надо купить билет. Денег не брали только с тех, кто собирался ехать. Тогда пассажир подавал охранникам проездной билет, те глядели, каким номером поезда человек уезжает, и, если до отхода был час, пропускали.

Сейчас можно заявить, что это всё лишние строгости, но я сомневаюсь в этом. Поезда на нашей станции были только проходящие. Они шли с запада на восток и с востока на запад, а у нас только останавливались, чтобы сменить паровозы или заполнить их водой — на водочаке в полуверсте, или пополнить углем паровозный кузов, который называется тендер. И вот пока состав стоит, люди грузятся в него — если есть свободные места. Про эти места становилось известно, только когда поезд приходил.

Народу, желающего куда-то ехать, было всегда полно, он толпился в вокзале, строился в очереди — одна на восток, другая на запад, но, повторю, билеты на свободные места начинали продавать, только когда поезд уже приходил. И вот тут начиналось!

Купив билеты, люди передвигались на перрон со своими мешками и чемоданами. Но поезда, бывало, приходили почти сразу или один за другим и становились параллельно друг другу на соседних путях — один паровозом на восток, другой на запад. И тогда в том, который поближе к перрону, открывали двери с обеих сторон, напролёт, чтобы люди могли пройти к другому поезду.

Начиналась паника — от лёгкой, до серьёзной, когда побегав вдоль состава, народ начинал лезть под вагонами. И молодые, которым это давалось легко, и немолодые, особенно тётки, которые становились на колени, тащили своё барахло, визжали от страха, пока, наконец, не выбирались из-под ближнего состава и не бросались к дальнему.

Наверняка, поэтому на перрон пускали только по билетам — купленным, входным, которые покупали встречающие и провожающие, и проездным, по которым садятся в вагоны. А те, кто хотели ехать, давились в вокзале, оставляя до поры пространство перед рельсами совершенно пустым и на удивление чистым. Когда нет поездов.

Я вот в такой тихий момент и купил билет на перрон. Строго глянув на меня, тётка-охранница мой картонный билет надорвала, отдав обратно, но о чём-то заговорила с другой, такой же, и я деловито отправился к рельсам. Они уходили в две противоположные стороны, и по ним где-то мчались тысячи поездов с людьми и грузами. Но здесь и сейчас выпала тихая минутка.

Пустой перрон подметал старик в фартуке, да вдали маячила женщина в малиновой красной фуражке.

Не зная, что спросить, я двинулся к старику и встретился с ним взглядом. Он остановился и вопросительно разглядывал меня. Наверное, это был нерусский старик, потому что у него была редкая бородка, сквозь которую блестел подбородок, а на лоб спускались седые, полукругом остриженные волосы. Он и заговорил с акцентом, довольно вкрадчивым голосом, сразу вызвав во мне доверие:

— Кого ищешь, мальчик?

— Встречаю отца, — ответил я довольно неуверенно.
— Ва! — проговорил негромко старик, будто к себе самому обращаясь. — Хороший сын! — спросил, уточняя: — Какой поезд?
— Сменный эшелон, — вспомнил я мамин пересказ телеграммы.
— Сименный эшелон? — удивился перронный дворник. — Не слышал!

Первый раз слышу!
Я вздохнул, кивнув, разве я сам-то знал? Ни день, ни час не указывались в телеграмме про отца, да я и телеграмму-то не читал — мама только сказала. И вот пришёл, видите ли, деньги за вход заплатил! Таким я себе попался в ту минуту глушом, что, наверное, это стало заметно, и старик затрепыхался, захотел, похоже, утешить меня, а тут как раз подошла к нам женщина в красной железнодорожной фуражке. Её лицо было густо усеяно веснушками, и я подумал, что в детстве она была, наверное, веселой и смешливой.

— Раисванна! — обратился к ней старик. — А что это сименный эшелон? — Указал на меня: — Мальчик встречает.

— Сменный? — удивилась женщина. — А кого ты встречаешь?

— Папу, — ответил я. — Он едет с войны.

Она чуточку прищурилась — спросила, показав рукой на рельсы:

— Откуда? Отсюда?

— С востока, — ответил я грамотно.

— Ясно! — сказала она. — И времени ты не знаешь! — проговорила утвердительно.

Я кивнул головой.

— Эшелоны, — проговорила она почти как учительница, — идут с разной скоростью. Одни обгоняют другие. Например, поезда с ранеными называются литерными и проходят быстрее других. Им уступают дорогу, понимаешь? Как здоровые уступают больным! — И улыбнулась. — Вот и всё.

Объяснила совсем серьёзно:

— Некоторые пассажиры, если у них есть предписание, могут переходить из эшелона, который идёт медленно, в другой, который идёт быстрее. Человек меняет эшелоны. Для него эти эшелоны — сменные.

Я кивнул, соглашаясь и стораю от каких-то чувств, незнакомых мне раньше.

Ну, конечно, мне было как-то стыдно. Но и не стыдно. Мне объяснили неизвестное раньше, но ведь это неизвестно и другим людям, очень взрослым. И ещё меня охватывало какое-то удивление, что эта веснушчатая женщина в железнодорожной фуражке и старик, подметающий перрон, не обругали меня, не прогнали, возмущившись, а терпеливо разговаривают со мной, хотя я, наверное, в их глазах полный несмышлёныш и недотёпа. Да ещё женщина сказала:

— Ты иди домой, не волнуйся. Раз твой папа едет, значит, приедет.

Я ответил ей:

— Спасибо!

Наверное, голос мой дрогнул, потому что женщина улыбнулась мне очень доброй улыбкой — наверное, из своего детства, — и кивнула. А дворник, — я услышал, — уже за спиной проговорил негромко:

— Счастливый солдат!

А она ответила, вздохнув:

— Все дети ждут! Да не все дождутся!

17

Когда я вернулся, двор наш совершенно переменялся. Не было деревянного корыта на двух табуретках. И стулья, и чурбаки, и даже перевернутые вёдра — всё это исчезло, встав на свои привычные места. Даже скамейка, которую врыли на краю лужайки, когда приехали цирковые, вернулась на место и стояла возле стены дома.

Там и сидела моя милая бабушка, очень даже похожая на взъерошенного воробья, точнее, воробыху. Она торопливо рассказала, что вдруг пришла машина с молодыми парнями в кузове — наверное, это были цирковые уни-

формисты, — из кабины выскочил Антон, и они в десять минут перенесли всё имущество семьи Антонио, все кастрюли, примусы, ну, понятное дело, бельё, сняли с верёвки даже непросушенное, а артист сунул ей в карман пачку денег. И за постой, и за стирку, и за заботу, и за дружбу.

Когда бабушка сказала, что деньги ей дали за дружбу, я поморщился, а она пожала плечами.

— Объяснил, что им сняли другую комнату. Потому что к нам-то возвращается отец.

Я побродил по двору, сходил в дом, даже попробовал посидеть в комнате и почитать, но ничего мне не шло в голову и всё валилось из рук. Я опять вышел на улицу.

Бабушка шмыгала носом, то ли начиная, то ли заканчивая плакать, сама же объясняя свои слёзы:

— Может, мы их обидели чем?

Я задумался. Ничем мы не обижали семью Антонио. Даже наоборот. Они ещё придут. Не могут не придти. И они пришли.

Правда, в калитке возник только один Гриня и, не входя во двор, крикнул:

— Николая! Приходи вечером в цирк! Сегодня дебют у Лизы. Позовёшь меня, если что!

Гриня, Гриня! Так я и не подружился по-настоящему с этим цирковым мальчиком. Девчонки заслонили его, точнее, Анастасия — Настя отодвинула нас друг от друга своим каждодневным мельканием во дворе, своей нестыдливостью, горбатым носом, историей своей жизни, которую сама же считала сплетней. Я и Лизу-то толком ведь не узнал. Училась она почему-то лучше Насти, говорила меньше, тоже находилась в некотором отдалении, как и Гриня, хотя и пыталась Анастасии не перечить и подражать.

Их я и встретил, когда пришёл минут за сорок до начала и заявился, как опытный друг цирка, в заднюю дверь, где меня остановили. Но Гриня и Лиза, переодетые, в костюмах, были в коридоре, недалеко от входа, и стоило мне их окликнуть, как я оказался в их кругу.

— Тебя надо поздравить? — спросил я у Лизы, но она замахала на меня двумя руками, потребовала сплунуть через левое плечо.

— В цирке все очень суеверны, — шепнул Гриня, — так что сплунь, не ёрся!

Я троекратно подчинился. Почему-то попросил их:

— А можно верблюда увидеть!

— Который в Антонио плонул? — спросила Лиза.

— К нему лучше не ходить, — вздохнул Гриня. — Он что-то расплевался. Уже в троих плонул. В лучших наших артистов. Его Дуров уволить хочет.

— Как это уволить? — удивилась Лиза. — Он что — на работе?

— А как же! — засмеялся Гриня. — Его кормят! Его поят! За ним убирают! Возят из города в город! А сейчас его нельзя выпустить на манеж. Вдруг в зрителей плонет!

Я смеялся и ничего-то по-прежнему не понимал в цирке. Верблюд казался мне чудачком, что уж тут поделаешь? Ему же не запретишь плевать! И я спросил Грину:

— Как же его уволишь?

— Очень просто, — ответил он. — Сдадут на мясокомбинат.

Я чуть не споткнулся:

— Убить верблюда! — воскликнул я. — Сдать на мясокомбинат! — И удивился не тому, чему бы надо. — Да кто будет есть верблюжье мясо?

Кто-то положил мне руку на плечо. Я поднял голову — это был Паташон, знакомый мне любимец публики. Вынырнул откуда-то сзади, услышав мои восклицания:

— А его в колбасу добавляют, — проговорил он невесёлым голосом, — смешают с говядиной да свиной, и съешь за милую душу! Ничего не поймёшь!

— Да как так! — сказал я, оборачиваясь к клоуну. — Верблюда надо защитить. Заявление заявить!

— Во-во, — сказал Паташон, — а вы заходите после представления. Сходим вместе к дрессировщику. Объединимся вот с Антонио, например, а?

Он подмигнул Грине с Лизой. Тут зазвенел звонок, и он поднял палец: — О! Пора на работу!

Он сделал два или три быстрых шага, потом развернулся и так же быстро подошёл к нам:

— Да он ещё переживёт нас с вами, этот замечательный верблюд Яша! Вы не поняли? Это розыгрыш — насчёт увольнения! Яша просто готовит новый номер. Сенсация! Плевков в мишень! — И он захохотал во весь голос.

Грина с Лизой недоумённо смотрели ему вслед, а я их спросил:

— Это такая дурацкая шутка?

18

Дурацкие шутки часто предшествуют вовсе не дурацким событиям. Не буду описывать разные номера, почти все мне известные, бравурную музыку, сопровождающую представление, слепящие лучи прожекторов, начну сразу с Антонио, наших хороших друзей.

Все началось как в прошлый раз, Сигурд-Сергей и дядя Вава поднялись на свои площадки, отцепили от них трапеции, закрепились в них ногами и, повернувшись друг к другу, полетели вниз, работая сначала с Леонидой. Они приближались, перекидывали её, Лена легко перелетала из рук в руки, улыбаясь, красивая, элегантная, в сверкающем блёстками костюме. При этом она была пристёгнута, и Антонио в халате вместе с униформистами страховал её, удерживая в руках — не ослабляя и не натягивая страховою лонжерон.

Потом то же самое сделала Джиди. Понятное дело, гремели аплодисменты, а когда женщины прыгнули на сетку, наверх поднялись девочки — Настя и Лиза.

Я, конечно, и Настю-то видел в роли её матери впервой. Она перелетала как пушинка от Вавы к Сергею и обратно, все перевороты и пируэты совершались будто играючи, легко, и она мельтешила там, на высоте, словно мотылёк какой-то, а не девчонка, не человек. Елизавета тоже удивила меня. Если говорить о зрителях, то, может, один я тут и знал-то, что она исполняет свою программу впервые! Уверенности и лёгкости ей даже у Насти было не занимать! Получилось, подумал я, что прямо у меня на глазах две девчонки стали настоящими воздушными гимнастками, артистками без всяких оговорок.

Когда я увидел их в первый раз, они просто двигались по манежу, просто красиво блестя своими костюмами и, конечно, подпрыгивали в сетке, достигая большой высоты. Но сейчас они сделали то же самое, что Леонида и Джиди. И это получилось у них просто здорово!

Я отхлопал все ладони, аплодируя вместе со всем цирком. И тут начался смертельный номер Антонио. И он улыбался там, вверху, летая, освобождённый от всякой страховки. И я снова видел его улыбку, вместе с ним радуясь, а без него — замирая от страха.

Наконец снова заверещали барабаны. Конферансье прокричал:

— Впервые в мире! Женщина-виртуоз! Номер, не исполнявшийся нигде. Смертельная опасность! Просим соблюдать тишину!

И после паузы:

— Воздушная гимнастка Леонида Антонио.

Лена отщёлкнула карабин страховки, Вава ухватил её за запястья, и они сделали первый качок. С другого края купола, уцепившись ногами за трапецию, нёсся в их сторону с протянутыми руками, мощный Сигурд.

Расстояние между мужчинами составляло метра три, из них какую-то часть занимало тело Леониды. В определённый миг она должна выйти из рук Вавы и, сделав кульбит, попасть в руки Сигурда.

Лена красиво развернулась ласточкой, вовремя протянула свои руки, и партнёр её принял. Раздались аплодисменты.

Теперь Леониду раскачивал Сигурд, внизу серел прямоугольник сетки. В неё прыгали все они сверху. Но прыгнуть и упасть не было одно и то же, потому что разные получались линии полёта. И человек, летящий под углом, вылетел бы за пределы сетки.

Сигурд передал Леониду Ваве. Вава исполнил свою задачу мастерски. Даже снизу было видно, как он бережно направляет Леониду в другую сто-

рону, как до последнего сантиметра отмеряет линию направления, как он всем телом своим придаёт её полёту точность и аккуратность.

И тут все видят, как Леонида, отрываясь от рук Вавы, делает один кульбит и сразу же — второй! Это, конечно, чудо! Невиданное и опасное!

Но она не вписывается в пространство, остававшееся между Вавой и Сигурдом.

А налетает на Сергея. Трапеция, за которую он держится ногами, меняет ход, а вместе с ним и положение его тела. Он хватается одной рукой запястье Леониды, но вторая рука мужчины другую руку Лены достать не может.

И она выскользывает из его руки.

И падает вниз.

Я услышал, как кто-то закричал. И это был отчаянный мужской голос. Я узнал его: это кричал Антонио.

Леонида ударилась о край сетки, а это был металлический прямоугольник. Она не издала ни звука! Вскочила, выбежала на свободную часть манежа перед сеткой. Стояла и улыбалась.

И шквал аплодисментов обрушился на неё!

Все вскочили, мало что понимая, и я тоже.

Она упала, это видели все, но вот она стоит, улыбается, и никто ничего не понимает, кроме её партнеров.

Антонио подбежал к ней, сверху прыгнули Вава и Сигурд. Их опередили две девочки и Гриня.

Так она и упала в это семейное объятие.

И семья в сияющих костюмах укрыла её от цирка, который продолжал аплодировать и кричать.

Слаженно и ловко, будто и всё это отрепетировано до последней мелочи, цирковые артисты бегом вынесли Лену с манежа.

Из-за занавеса приглушённо послышался то ли крик, то ли плач.

И снова это был мужской голос.

19

И тут на манеж выбежали Пат и Паташон! Заиграла не к месту весёлая громкая музыка, я уже был готов сорваться, чтобы рвануть за кулисы. Но ко мне вдруг почти бегом приблизился Паташон, перелез через барьер и закричал, схватив за руку:

— Как тебя зовут, мальчик?

Я выдёргивал руку, но он держал меня крепко, и крикнул:

— Коля?

Я кивнул.

— Вот видите, — визгливо закричал Паташон, — его зовут Коля! И я всякого отгадаю! Кого как зовут!

Цирк засмеялся, к Паташону потянулись ребята — меня ведь опять пристроили в первом ряду — и я поразился, как все тут же забыли о только что происшедшем. Будто ничего не случилось! Сетку уже убрали униформисты, трапеции они отвели тросами и закрепили снизу. И представление продолжалось, как ни в чём не бывало.

Я кинулся к двери, ведущей в закулисы, но путь мне преградил дежурный охранник. И как я ни шептал и как ни объяснял, что я тут не чужой, он молча, уперев пятерню мне в грудь, только качал головой, не желая ни впускать, ни слушать.

Пришлось дожидаться конца следующего номера. Я сидел на корточках перед барьером, возле входа за кулисы, и меня просто поражало происходящее: цирк не остановился, он продолжал смешить и барабанить. Да вот только, кажется, именно барабаны трещали громче, чем всегда. Будто этим грохотом, похожим, порой, в какие-то секунды на бой громадного циркового сердца, они хотели заглушить что-то совсем другое.

Номер кончился, я кинулся вокруг манежа, выскочил из цирка с парадного подъезда, обежал шапито и подскочил к служебному выходу.

Съёжась, будто от холода, там стояла урёванная Люка, девочки и Гриня, так и не переодевшиеся, в блестящих костюмах. Они молчали, а когда я подбежал, Настя посмотрела на меня чужим и взрослым взглядом.

Наверное, весь вид мой выражал вопрос и бесполезное сочувствие, поэтому Гриня взял меня за локоть и отвёл в сторону.

— Её увезли в больницу. Все взрослые убежали туда же! А ты уходи!

И отвернулся от меня, будто что-то перерезав, какое-то пространство между мной, а может, всеми нами и всеми ими.

20

Тем вечером мы долго не ложились спать, и я уже в пятый раз, наверное, пересказывал события вечера маме и бабушке.

Потом мы улеглись, и взрослые, было слышно, долго ворочались, не в силах уснуть.

Под утро послышался гром. Со сна я подумал, что на улице гроза, но в окно вливались солнечные лучи, и только тут я сообразил, что это стучат в дверь.

Послышался крик, опять мужской, а потом женский, это кричала мама. Я выскочил из кровати в ожидании беды, кожа моя покрылась мурашками от страха, я выбежал на лужайку и увидел, как человек в гимнастёрке, без пилотки на голове, крутит вокруг себя маму, крепко обняв её и оторвав от земли, а она, в ночной рубашке, визжит, как девчонка.

— Папка! — неуверенно прошептал я.

И уже закричал громким криком:

— Папка!

Он отпустил маму на землю, мой папка, и я кинулся ему на шею и укололся о его щетину. Он даже побриться не успел перед приездом! Но какое это имело значение? Вот он, вот! А я только вчера пытался его встретить, ошибся всего на день, на одни сутки, как говорят военные, ну, может, чуточку поменьше. Но он, оказывается, уже подъезжал, пересаживался, может, с предпоследнего эшелона в последний эшелон, потому что имел на это разрешение, и вот кончилась, наконец, моя война: папка вернулся!

Это было небывалое счастье. Оно затмило собой совершенно всё — все четыре с лишним года войны: мороз по утрам, когда приходилось, завязав ушанку и обернувшись шарфом, брести тёмными утрами на уроки, горькие, не очень-то понятные ожидания чего-то, скорее беды, чем радости, возвращение раненого отца в наш город и в мамин госпиталь, а потом его горький отъезд снова на войну, наши концерты перед ранеными, уроки, выполненные в тетрадках, сшитых из газет, голодные обмороки и столовка для дополнительного питания...

Но детство не умеет сравнивать, потому что, к счастью, не имеет опыта за спиной. И даже беды не кажутся окончательными бедами, кроме, конечно, голода, несвободы и смерти. Поэтому всё, что было со мной, все мои малые радости и пока небольшие печали враз померкли с этой моей личной победой: папка вернулся!

Для одних война кончилась весной, для других — осенью, а для меня кончилась вот в тот самый миг, когда она вернула мне отца, совершив великую милость и одарив небывалым счастьем!

Я не отходил от него.

Я разглядывал, как он собирает никелированный бритвенный станок, мылит пушистой кисточкой щёки и шею, сбрасывает щетину. Как перед этим аккуратно снимает гимнастёрку с медалями, размешёнными слева, и тремя жёлтыми полосками справа, означающими три ранения средней тяжести.

Я прыгал и радовался, когда отец доставал подарки с войны — маме отрез китайского крепдешина на платье, который он купил на рынке в Маньчжурии, и вытянутую коробочку с невиданными овальными кусочками туалетного мыла, которые, — восхищались все мы, — пахли жасмином. Надо же!

И ещё он привёз мне пачку тетрадок с иероглифами на обложке. А тетрадки оказались довольно чудными. Все в линейку, страницы в этих тетрадках с одной стороны были белыми, лакированными, как будто сделанным из мела, а с другой стороны — желтоватыми, обычными.

Я тут же уселся за стол, вынул из портфеля ручку, обмакнул пёрышко в чернила и начал писать какую-то фразу, начинавшуюся со слова “папа”. Может, я хотел написать “Папа приехал” или “Папа привёз эту тетрадку”, но! Чернила под пером на этой гладкой, блестящей и очень нарядной страничке вдруг стали расплываться и туманиться. Слово “папа” оказалось размытым и нечётким, и я, конечно же, вскрикнул от удивления. Отец поглядел и чертыхнулся. Он осмотрел тетрадь на просвет, сказал, чтобы я попробовал с другой стороны, и жёлтоватая, ненарядная сторона странички спокойно выдержала моё перо и мои чернила. Мама утвердила:

— Ну так и пиши только с этой стороны.

Но всё это — так, мелкие подробности!

А в те дни я ликовал с утра до ночи. И даже ночью мне снились только счастливые сны розового цвета: деревья, травы, машины, которые являлись мне во сне, были если и не розовыми, то двигались и сияли в каком-то постоянно праздничном освещении.

Наверное, это был мой собственный рассвет.

Я всё ждал отцовских рассказов о войне. И каждый вечер он охотно начинал свой рассказ, но потом мама или бабушка, или даже сам я спрашивали что-нибудь уточняющее, и отец отвлекался, говорил про другое, и война куда-то уходила, уходила... И так всякий раз.

Однажды, грешный, я даже подумал, что отец не очень-то хочет говорить про войну. А повзрослев, понял: так и есть, он говорить не хотел.

Она была страшной. А главное, позади...

21

И снова в те дни послышался стук в нашу дверь. Его даже не услышали взрослые — они о чём-то громко и радостно говорили. Я открыл дверь, за порогом оказалась Настя.

Она была в чёрном платке и вообще походила на старуху с горбатым носом, выступающим на похудевшем лице.

Не входя в дом, она сказала:

— Мама умерла, завтра утром похороны! — И добавила: — Прощание в цирке!

Отец поглядел на девочку, скользнул по нашим лицам, понял, что речь о неизвестном ему, и опустил голову.

Мама и бабушка молча встали. Всё наше веселье сразу смыло. А Настя сказала:

— Вы извините. У вас радость...

22

Да, к одним приходит радость, а к другим беда. И всё это сразу, почти в один день.

Как же странно устроена жизнь! Не останавливается, не даёт передышку для радости или беды — совсем как представление.

Утром мы с бабушкой отправились к цирку.

Маме надо идти на работу, отец отправился в военкомат, а мы пришли в цирк и вошли в широко распахнутые главные двери.

Эти двери, в которые, наверное, можно было бы завести слона, точно приглашали: давайте, дорогие зрители, входите сюда, где на манеже сегодня утром не представление для школьников. А простой гроб, на деревянном помосте, и там лежит человек, служивший вам своим искусством.

Леонида была, наверное, загримирована, лежала, пылая красотой, совсем молодая женщина, не боявшаяся риска.

Бабушка наломала огромный букет флоксов. Эти цветы некоторые люди зовут кладбищенскими за их какой-то печальный запах. Но я этот запах люблю, мне он кажется просто осенним, просто последним.

Попробуйте положить цветочек флокса или его небольшое соцветие в книгу, поставьте на полку, пусть пройдёт время, и зимой распахните эти

страницы: вокруг, за окном, будет снег или стужа, а в вашу комнату ворвётся печальный запах — не раннего лета, а поздней осени. И вот только тогда вы по-настоящему почувствуете, что природа перевернула страницу. Но позволяет вам вспомнить запах осени, запах прощанья.

Мы вошли в цирк, поднялись в пустые ряды, слушали речи. А перед тем бабушка велела мне положить в ноги Леночки-Леониды наши флоксы.

Я взял благоухающий букет, поставил ногу на барьер и шагнул на манеж. Ноги утонули в опилках, от которых пахло влагой и ещё чем-то неуловимо цирковым. Я сделал шаг, другой, вступил на ковёр и опустил цветы в гроб.

С одной стороны гроба, на табуретке сидела Люка, все остальные из семьи Антонио стояли и смотрели на меня. Я повернулся к ним, не зная, что сказать и как поступить. Но Антонио спас меня. Он сказал:

— Иди сюда, Коля!

И я сделал шаг к нему. И он обнял меня и прошептал:

— Спасибо, мальчик!

Я подошёл к Насте, Лизе, Джиде и Сигурду, к тётке Люке и дяде Ваве-Штинцу. И все они меня или похлопали по плечу, или пожали мне руку, хотя это я должен был бы пожать им руки.

23

А потом случилось самое потрясающее.

Я не знал, что так бывает. Что так, оказывается, должно быть. И, конечно, именно потому я горько, словно малыш, не переживший войны, заплакал. Громко, навзрыд.

В какой-то миг униформисты раздвинули за канаты стенки манежа, выходящие к главному входу. Антонио, Сигурд, Вава и ещё какие-то взрослые люди подняли гроб и понесли его к выходу.

Там, ещё не переступая циркового порога, они остановились, и весь народ обошёл их и выбрался на улицу.

Потом это и произошло.

Едва гроб показался за пределами цирка, раздались аплодисменты.

Я даже не понял сначала, что это значит! Почему люди хлопают! Надо, наверное, молчать, плакать и стоять смирно? А они плакали и аплодировали!

Плакали и хлопали!

И только тут я понял, что так провожают не всяких, а только артистов! Ведь аплодисменты — это способ восхищения их искусством! Признания таланта!

Признания всей жизни!

24

Вот и вся история про семью воздушных гимнастов под куполом цирка.

Фамилия Антонио исчезла с афиши перед нашим цирком. Наверное, уехали в другой город.

Жизнь пошла своим ходом. А я, хотя это может показаться неправильным и странным, разлюбил бывать в цирке.

Может быть, потому, что знал — за блеском, шутками клоунов и отвагой артистов скрывается очень много того, в чём мне никогда не разобраться.

Впрочем, скорей всего, это просто признание всего лишь обыкновенного зрителя, на минуточку, да и то в послевоенном детстве, заглянувшего за кулисы цирка.

И узнавшего, что цирковые — это не циркачи.

25

Минуточку! Минуточку! Занавес ещё не задёргивается, и я хочу дорассказать ещё об одной артистической судьбе. Из тех, с кем я познакомился.

Однажды в библиотеке я столкнулся нос к носу с парнем по имени Изя. Я сразу вспомнил, что его отец ведь работал в цирке администратором. Изя тоже узнал меня, мы пожали руки друг другу и топтались, не зная, как завязать разговор.

— Ты чего-то не появляешься в шапито, — сказал он со знанием дела.
— Да! — сказал я. И уклонился от правды. — Много разных забот!
— Артисты ведь всё время меняются, — поманил он, — и без конца новые номера!

Мне хотелось переменить тему, и я сказал просто так, уже прощаясь:

— Ну, передавай привет верблюду Яше.

— О! — воскликнул Изя. — Яша уехал в Москву! Теперь работает в Уголке Дурова. Поедешь в столицу, зайди к нему. Он присмирел и перестал плеваться!

Эта была приятная новость. Значит, Яша жив и здоров! И все разговоры, что его отправят на колбасу, просто дурацкие шутки.

И вот прошло немало лет. После девятого класса мы с мамой поехали в Москву. И как-то я отпросился у неё в Уголок Дурова. Ну, не отпросился, просто сказал — я хочу туда сходить, у меня там знакомый верблюд.

Она посмеялась, и я поехал.

Уголок Дурова состоял из клеток, в которых жили разные животные. Они дурачились, плакали, смеялись, словом, вели себя как люди, но я шёл мимо них, всё время спрашивая у служащих:

— Где верблюд Яша?

Никто не удивлялся, мне указывали дорогу. И вот я, наконец, пришёл к небольшому загону. Верблюд смотрел на меня совершенно равнодушно и не узнавал. Я вежливо, правда, шёпотом, поздоровался. Он никак не отреагировал. Тут я, конечно, ругнул себя. Да разве может он узнать меня. Я ведь и сам-то переменялся до неузнаваемости. Тогда мне было десять лет, только кончилась война, а сейчас я отсчитываю шестнадцатый год. Да и одет я был по-другому, и город другой. Я вздохнул, ещё раз взгляделся в верблюда, перечитал табличку, всё правильно: “Яша”. Постоял ещё минутку, прежде чем проститься, пристальнее взгляделся в физиономию когда-то капризного существа и вдруг понял, что я тоже не узнаю его. В его глазах, по-прежнему больших и выразительных, отсутствовало лукавство. Он, как и всегда, жевал жвачку, но люди, стоящие за решёткой, и я среди них, не интересовали его. У этого верблюда личная гордость превышала всё остальное.

Ну что мне оставалось? Я вздохнул и повернулся, чтобы идти. Но у меня за спиной оказалась женщина в рабочем халате. Похоже, она убирала клетки. Конечно, не та, не из шапито моего детства, а совсем другая, но её лицо тоже излучало ещё что-то, кроме усталости, может быть какую-то снисходительность ко всему. И я спросил её:

— Скажите, а этот верблюд Яша? — и придумал. — Ему сколько лет?

— По-моему, три, — ответила она.

Мои опасения оправдались. Ведь того Яшу я видел ровно пять лет назад. И я как мог, рассказал уборщице про Яшу, виденного мной после войны.

— Да-да! — ответила она, весело открывая истину. — У нас все верблюды — Яши!

26

Я возвращался на Зацепу, где мы ночевали, с лёгкой грустью.

Москва была пустыня, троллейбус полупуст. Теперь такой Москву ни когда не увидишь, даже ночью.

Я ехал в тишине и чуточку улыбался, вспоминая цирк-шапито в нашем городе, артистов, с которыми лишь чуточку познакомился, и своенравного верблюда из моего детства.

Ничего этого уже не было, по крайней мере, в моей нынешней жизни, всё моё не такое-то и далёкое прошлое, оказывается, незаметно отодвинулось от меня...

27

Я, может быть, впервые подумал о времени, которое, оказывается, коснулось и меня.

И чуточку повзрослел в это мгновение.

Июль 2013 года.